

Леонид Карпов
Сатирическая
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Платона
Похотливого.
Том 1

Леонид Карпов

**Сатирическая энциклопедия
Платона Похотливого. Том 1**

«Автор»

2026

Карпов Л.

Сатирическая энциклопедия Платона Похотливого. Том 1 /
Л. Карпов — «Автор», 2026

Знакомьтесь с Платоном Похотливым – главным мыслителем нашего времени, чья эрудиция способна затмить академию наук. В этой книге собраны его лучшие изыскания на самые сложные темы: от макроэкономики до философии. Правда, благообразный фасад Платона Пантелеймоновича держится ровно минуту. Хлесткая, смешная и бескомпромиссная хроника того, как высокий интеллект пасует перед низменным инстинктом, а изящный светский салон превращается в грязный привокзальный кабак.

© Карпов Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Аберрация	5
Абстиненция	7
Абстрагирование	8
Абулия	10
Аверсия	11
Автономная сенсорная меридиональная реакция, ASMR	13
Автотрофность	15
Автохтонность	17
Аггравация	19
Агиография	20
Агноним	21
Агностицизм	22
Агрегация	24
Адгезия	25
Аддикция	26
Аккомодация	27
Акрибофобия	29
Аксиология	30
Акциденция	31
Алертность	32
Аллегория	34
Аллюзия	35
Алогизм	36
Амбассадор	37
Амбивалентность	38
Амбидекстер	39
Амикошонство	40
Амок	42
Анабасис	44
Анальгезия	45
Анафродизиак	47
Анахоретство	49
Ангедония	50
Аннигиляция	51
Аннотация	52
Аномия	54
Антагонизм	55
Апология	56
Апория	57
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Леонид Карпов

Сатирическая энциклопедия Платона Похотливого. Том 1

Аберрация

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Элегия», придерживая мизинец над чашкой кофе так высоко, будто тот пытался улететь в стратосферу.

Его облик в старомодном пенсне и с аккуратной козлиной бородкой излучал такую густую интеллектуальную значимость, что официанты непроизвольно начинали говорить шепотом. На коленях у Платона Пантелеймоновича лежал томик Канта, которым он время от времени похлопывал по колену, словно умиряя бушующий в нем океан смыслов.

Надо отметить, что Платон Пантелеймонович крайне болезненно относился к вульгарным смешкам в сторону своей родовой фамилии. Но у него наготове всегда была научная версия, призванная обелить его генеалогическое древо.

«Позвольте, любезный, – говаривал Похотливый, поправляя пенсне, – ваша необразованность просто режет слух! Моя фамилия происходит от старинного слова "похотень" – так в северных губерниях называли мягкую, искусно выделанную кожу. Мои предки были выдающимися мастерами, одевавшими элиту. А то, что вы слышите в этом некие физиологические позывы – лишь доказывает, что ваш собственный разум находится в плену у низменных инстинктов».

В тот день мир вокруг казался Похотливому несовершенным черновиком. Глядя в окно на серую петербургскую морось, он думал о бренности бытия и о том, как дивно гармонирует этот меланхоличный пейзаж с его внутренним аристократизмом.

– Какая, однако, досадная аберрация в атмосфере, – произнес он в пространство, заметив, как солнечный луч внезапно пробился сквозь тучи и тут же погас. – Искажение световых лучей при переходе из одной среды в другую неизбежно ведет к обману зрения. Мы видим не солнце, а лишь его жалкую, смещенную проекцию. Ах, эта вечная погрешность восприятия...

В этот момент за соседним столиком дама в фиолетовой шляпке, пытаясь достать пудреницу, случайно задела ложечкой стакан. Раздался тонкий, дребезжащий звук, и капля клубничного сиропа приземлилась на белоснежную скатерть.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его зрачки расширились. Он медленно повернул голову к пятну, и в его мозгу заскрежетали шестеренки логического спуска.

– Вы видите это? – обратился он к даме, чье лицо выражало лишь легкую досаду. – Это же классическая аберрация! Но не оптическая, голубушка, а экзистенциальная. Вы думали, что попадете ложкой в сахарницу, но траектория исказилась под весом вашей... женской природы. Аберрация – это ведь что? Это отклонение от нормы, это ложный образ, который мы принимаем за истину из-за кривизны линзы или, скажем так, кривизны души.

Он подался вперед, и его голос потерял бархатистость, приобретя неприятный маслянистый оттенок.

– Вот и с бабами так же, – вдруг хрипло добавил он, и Кант соскользнул с его колена на пол. – Ты на нее смотришь через призму этих своих идеалов, думаешь – нимфа, светлая личность, а на деле – сплошное искажение. У нее в башке такая аберрация, что она тебе вместо любви подсунет засаленный халат и скандал из-за невымытой сковородки.

Платон Пантелеймонович шумно втянул носом воздух. Благообразная маска сползла, обнажив физиономию человека, который слишком долго разглядывал изнанку забора.

– Глядишь на такую в клубе – ну чисто ангел, ноги от коренных зубов, глазки строит, абберрация полная! А присмотришься поближе, когда свет из сортира падает – там же морда в штукатурке, как стена в хрущевке, и перегар такой, что мухи на летудохнут. И вот ты, дурак, ведешься на эту оптическую иллюзию, а она тебя потом за причинное место – цап! – и в ЗАГС тащит, чтоб ты ей шубу из облезлой кошки покупал.

Дама в шляпке побледнела и начала пятиться вместе со стулом. Но Платона Пантелеймоновича было не остановить. Он уже не пил кофе, он буквально брызгал слюной, описывая ужасы «женского искажения».

– Вся природа их – сплошной косяк линзы! Накрасят свои свистки красным, выпятят корму, и ты уже не видишь, что там внутри пусто, как в опорожненной бутылке из-под дешевого портвейна. Абберрация, мадам! Ложь! Искажение реальности! Ты ей про Канта, а она тебе – «купи прокладки с крылышками». Тьфу, срамота одна...

Он резко замолчал, подхватил книгу и, не глядя на счет, пошел к выходу, бормоча под нос что-то про «кривые зеркала» и «потных бабищ в рейтузах». Официант долго смотрел ему вслед, пытаясь понять, в какой именно момент утонченный эрудит превратился в человека, которому опасно доверять даже чистку картошки.

Абстиненция

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с таким видом, будто лично курировал движение небесных светил. Его пенсне отражало осенний петербургский сквер, а в голове громоздились конструкции из Канта, Шопенгауэра и этического императива. Он считал себя бастионом духа в мире, погрязшем в суете.

– Взгляните на эту листву, – обратился он к случайному соседу, указывая тонким пальцем на пожелтевший клен. – Какая метафизическая покорность энтропии! Это ли не высшая форма самоограничения? Настоящий стоицизм природы.

Платон Пантелеймонович временами практиковал тотальную абстиненцию. В его понимании воздержание от вина, табака и – упаси боже – женского колена было не просто диетой, а актом духовного героизма. Он подавлял в себе все человеческое с таким остервенением, что его комплексы уже давно обрели собственное сознание и, кажется, потихоньку начали писать на него доносы в небесную канцелярию.

В этот момент официантка, пронося поднос, задела углом стола край скатерти, и полная сахарница с тихим стуком перевернулась, рассыпав белоснежные кристаллы по темному дереву.

Платон Пантелеймонович замер. В его глазах блеснул недобрый огонек.

– Вот оно, – прошипел он, и его голос из бархатного баритона превратился в скрип несмазанной телеги. – Рассыпалось. Обнажилось. Вы видите эту вопиющую беззащитность материи? Это же чистейшая провокация! Сахарница была полна, сдерживала в себе этот сладкий порок, а теперь... вы посмотрите, как эти крупички липнут к поверхности.

Он наклонился ближе к соседу, обдав того запахом вчерашнего морковного чая.

– Это ведь как с бабами, милсдарь. Идешь ты, весь такой из себя аскет, святой человек, в узлах завязанный, а тут – раз! – и какая-нибудь Глашка юбкой крутанула. И все твоё воздержание летит к чертям, как этот песок. А ведь абстиненция – это вам не баран чихнул! Это когда ты внутри кипишь, как нужник в июле, а снаружи морду держишь, будто причастился. Но стоит только дать слабинку...

Платон Пантелеймонович внезапно сорвал пенсне. Его лицо покраснело, а лексика окончательно утратила петербургский лоск.

– Думаете, я зря морковку жру и на стенку лезу? Да если я хоть каплю портвейна глотну или, не приведи господь, на девку в маршрутке засмотрюсь – у меня же плотину сорвет! У меня ж там внутри не душа, а помойная яма, где похоть со змеями в десны целуется. Все эти ваши «воздержания» – просто крышка на котле с дерьмом. Чуть приоткрыл – и вонь на всю округу. Сахарница, говорите? Да это не сахар, это ж похоть в чистом виде, белая, гадская, липкая! Хочется загрести ее горстью и в рожу кому-нибудь кинуть, чтоб жизнь медом не казалась!

Он тяжело задышал, глядя на рассыпанный сахар так, будто тот предлагал ему непристойности. Сосед поспешно ретировался. Платон Пантелеймонович снова водрузил пенсне на переносицу, оправил жилет и брезгливо позвал:

– Человек! Уберите это безобразие. Здесь слишком много плотской экспрессии для приличного заведения.

Абстрагирование

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Амброзия», поджав губы так, словно внутри него совершалось таинство пресуществления мысли в чистый эфир. Перед ним лежал томик Канта, к которому он не прикасался, ибо истинному эрудиту достаточно лишь чувствовать вес обложки, чтобы ощущать сопричастность к вечности.

Его взгляд, полный экзистенциальной грусти, скользил по лепнине потолка. Платон Пантелеймонович размышлял об абстрагировании.

«Абстрагирование, – нашептывал он внутренним голосом, ласкающим слух, – есть высший пилотаж человеческого духа. Это способность отсекай лишнюю шелуху бытия, дабы обнажить костяк идеи. Когда мы абстрагируемся от частных – от этого несносного шума кофемашины, от липкого стола, – мы выходим в поле чистых сущностей. Это как снять кожуру с апельсина, чтобы увидеть его геометрию, а не просто рыжую пупырчатость».

Он чувствовал себя почти прозрачным от собственной утонченности. Казалось, еще минута – и он воспарит над бранным миром, оставив на стуле лишь поношенный пиджак и облако интеллектуального превосходства.

В этот момент за соседним столиком грузная дама в шляпке-пирожке неловко взмахнула рукой и уронила на пол эклер. Пирожное шмякнулось кремом вниз, издав звук, подозрительно напоминающий пощечину.

Мир Платона Пантелеймоновича качнулся. Тонкая нить абстракции натянулась и лопнула.

– Вот оно! – вдруг громко произнес он, оборачивая к испуганной даме свою козлиную бородку, скрывавшую отсутствие волевого подбородка. – Вы видите? Это и есть момент истины. Вы сейчас совершили акт непроизвольного абстрагирования материи от формы. Содержание, так сказать, вывалилось наружу.

Дама начала бормотать извинения, но Платона Пантелеймоновича, почуявшего свободные уши, было уже не остановить. Его глаза заблестели нездоровым, маслянистым блеском, а слог начал стремительно терять свою дворянскую выправку.

– Ведь что такое этот ваш эклер? – продолжал он, подаваясь вперед и обдавая собеседницу запахом дешевого табака. – Это же аллегория. Вот он лежал, весь такой в глазури, недоступный, как министерская дочка в корсете. А теперь? Гляньте-ка, крем-то вылез! Желтый, жирный, липкий... Прямо как ляжки Алевтины из третьей парадной, когда она чулки снимает в прихожей, отдуваясь после смены в гастрономе.

Платон Пантелеймонович облизал губы, и в его голосе прорезалась хрипотца подворотни.

– Вы думаете, я про десерт? Нет, милочка, я про суть бабскую. Все вы такие – сверху присыпаны пудрой интеллектуального абстрагирования, а копни поглубже, урони тебя на пол – и потечет наружу все это... натуральное. Сплошная физиология и бесстыдство. Вот я вчера на политическую карту смотрел, абстрагировался от границ. И что я там увидел? Контуры, мадам, контуры! Изгибы, впадины, бугры. Гляжу на Бразилию – и вижу задок Зинки-почтальонши, такой же необъятный и жаркий, в одних розовых панталонах с начесом.

Дама, побледнев, схватила сумочку и боком-боком двинулась к выходу. Платон Пантелеймонович, уже не замечая Канта, кричал ей вслед, размахивая руками:

– Чего бежите? От правды не абстрагируешься! Жизнь-то она не в книжках, она в потных складках! Сама природа – это одна большая бабища, которая только и ждет, чтоб задрать подол облаков и показать нам свою неприкрытую, мясистую...

Эспрессо-философ замолчал, тяжело дыша, и посмотрел на пятно от эклера. Ему казалось, что крем подмигивает ему с пола, приглашая к дальнейшим, еще более глубоким философским изысканиям.

Похотливый жадно допил остывший кофе, вытер губы засаленной салфеткой и, продолжая тяжело дышать, уставился на испуганных посетителей.

– Ну, чего замерли? Поняли теперь, что такое истинная суть вещей, когда от них все лишнее отсекаешь?

Абулия

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с тем выражением скорбного достоинства, которое обычно свойственно античным бюстам или старым бухгалтерам в день выдачи жалованья. В руках он держал томик Шопенгауэра, на страницах которого лениво покоилась муха. Платон Пантелеймонович размышлял о судьбах цивилизации.

– Взгляните на этот мир, – шептал он в пустоту, поправляя пенсне. – Все сущее ныне пребывает в состоянии онтологического оцепенения. Мы свидетели великого паралича духа.

Событие, послужившее началом конца приличий, было пустяковым. Официант, юноша с лицом испуганной лани, застыл у соседнего столика. Он просто стоял, глядя на пустую чашку, и не предпринимал никаких попыток ее убрать. Он не моргал и не двигался, словно его внутренний мотор внезапно лишился искры.

– О! – воскликнул Платон Пантелеймонович, и в его глазах зажегся недобрый огонек. – Вот она, классическая, рафинированная абулия! Видите ли вы, молодой человек, этот патологический дефект воли? Абулия – это не просто лень, это полная неспособность принять решение или совершить действие при сохранении осознания его необходимости. Человек хочет хотеть, но не может захотеть! Это бездна, в которую проваливается всякая инициатива.

Он подался вперед, и его голос из академического тенора начал переходить в хриплый баритон.

– Абулия, милостивые государи, – это когда психика говорит «надо», а конечности отвечают «плевать мы хотели». Это высшая форма духовной импотенции. Но позвольте, откуда она берется? Я вам скажу. Все дело в избытке нерастратченной, грязной энергии, которую мы пытаемся подавить этикетом!

Платон Пантелеймонович облизал губы, и пенсне сползло на кончик носа. Его мысли, сделав изящный пируэт над пропастью психиатрии, привычно рухнули в выгребную яму его истинных интересов.

– Вот этот малый стоит как вкопанный, потому что у него в башке не Кант, а рыжая Клавка из хлебного отдела! У него абулия, потому что он всю ночь воображал, как эта кобыла в кружевных панталонах, которые трещат на ее необъятном заду, заставляет его лизать крошки с прилавка. Да-с! Он перегорел, бедняга. Когда баба такая мощная, что у нее ляжки как два тугих окорока, у любого воля атрофируется.

Он хлопнул ладонью по столу, распугав мух и эстетов.

– Вы думаете, политика – это борьба идей? Нет! Это коллективная абулия, вызванная тем, что министры мечтают не о реформах, а о том, как бы зажать в темном углу какую-нибудь потную судомойку и задрать ей подол до самых ушей, чтоб она визжала, как недорезанная свинья, пока они ее за бока мацают своими липкими лапами. Воля парализована похотью, господа! Мы не строим заводы, потому что у нас перед глазами колышутся сиськи размером с арбузы, обтянутые дешевым ситцем, который так и хочется рвануть зубами!

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, вытирая вспотевшую залысину обрывком салфетки. Официант вздрогнул и, наконец, забрал чашку, поспешно скрываясь на кухне.

– Видали? – торжествующе прохрипел Похотливый. – Стоило мне упомянуть сочные женские тела, как абулия отступила. Страх перед истинным развратом – единственный двигатель прогресса. А вы говорите – Шопенгауэр... Тьфу! Да он просто нормальной бабы в растянутых джинсах сроду не видел.

Аверсия

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, подперев челюсть с козлиной бородкой указательным пальцем – жестом, который, по его мнению, придавал лицу сходство с бюстом античного мыслителя. Перед ним лежал свежий номер газеты. Взгляд его, исполненный вселенской грусти, скользил по заголовкам о котировках криптовалют и дипломатических миссиях.

«О, как измельчал дух человеческий! – думал Платон Пантелеймонович, поправляя пенсне. – Все суета, все тлен и экономический детерминизм. Мы забыли о метафизике бытия, о той высшей форме отрицания, которую мудрецы именуют аверсией».

Он на мгновение зажмурился, наслаждаясь звучностью термина. В его голове аверсия представлялась величественной богиней, отворачивающей лик от несовершенства мира. Это ведь не просто брезгливость или отвращение, нет! Это глубокий, почти экзистенциальный механизм психики, когда организм или душа говорит решительное «фу» какому-либо стимулу. В психологии это формирование стойкой неприязни – например, когда человека тошнит от одного запаха того, что раньше казалось милым.

– Мир болен, – шептал он, – и спасение лишь в аверсии. Нужно уметь отталкивать, нужно возвращать в себе этот благородный рвотный рефлекс на пошлость бытия...

В этот момент официантка, круглолицая девушка с тугой косой, неловко задела подносом край соседнего столика. Пустая чашка с дребезгом покатилась по полу, и капля недопитого слизистого кофе шлепнулась прямо на лакированный тufель Платона Пантелеймоновича.

Он вздрогнул. Маска античного мудреца треснула.

– Вот она, наглядная аверсия! – воскликнул он, глядя на пятно, и голос его из бархатного баритона вдруг превратился в скрипучий фальцет. – Вы видели? Это же метафора! Природа сама отвергает это непотребство. Хотя... если вдуматься в природу отторжения...

Он уставился на лодыжки официантки, и в его глазах зажегся нехороший, маслянистый огонек.

– Ведь что такое аверсия в сущности? – продолжал он уже громче, обращаясь к опешившей девушке. – Это когда тебя воротит от того, что должно бы манить. Вот ты, милочка, стоишь тут, юбкой шуршишь, а у меня внутри – философский конфликт. Ты ж думаешь, я сейчас про высокие материи? А я вижу, как у тебя чепец на затылок сполз, и сразу вспоминаю вдову Аграфену из третьей парадной. У той тоже была такая... аверсия.

Платон Пантелеймонович подался вперед, обдавая официантку запахом дешевого табака и несвежего ментола. Его «интеллектуальный» стиль начал стремительно линять, как старые обои.

– Она, стерва, тоже все из себя недотрогу строила, – прошипел он, и его лексикон вдруг обогатился звучными низовыми оборотами. – Все ей, понимаешь, «аверсия» была на мои подмигивания. Носом крутила, мол, пахнет от меня как от козла в случной период. А сама, подстилка привокзальная, только и ждала, чтоб ее за углом к забору прижали. Эта ваша психология – сплошное кувырканье в грязных простынях. Аверсия у нее, ишь! Это просто такой способ набить цену своей облезлой шкуре.

Официантка попятилась, а Платон Пантелеймонович уже разошелся не на шутку. Он вскочил, размахивая газетой, на которой теперь красовался жирный след от ботинка.

– Вся политика ваша – это как баба в течке! Сначала «аверсия», «ой, не трогайте мои суверенные границы», а как учует запах хрустящих ассигнаций, так сразу все запоры с петель долой! Все вы одинаковые, кобылы необъезженные. Сначала в рожу плюете, вызываете, значит, это самое отвращение для интриги, а потом в кабак проситесь, чтоб там до соплей нализаться и в нужнике обниматься! Тьфу, срамота...

Он тяжело дышал, глядя на пятно на туфле, которое теперь казалось ему центром мироздания.

– Аверсия... – буркнул он напоследок, вытирая губы тыльной стороной ладони. – Это когда девка говорит «нет», а в глазах у нее – коровье желание, чтоб ее хорошенько выдрали за сараем. Весь мир – один большой грязный нужник, прикрытый кружевной салфеточкой.

Он бросил на стол мятую сторублевку и вышел из кофейни, тяжело переваливаясь с боку на бок и продолжая бормотать под нос что-то о строении женского таза и его фатальном влиянии на курс валют.

Автономная сенсорная меридиональная реакция, ASMR

Платон Пантелеймонович Похотливый пребывал в том возвышенном состоянии духа, когда окружающая действительность кажется лишь досадной опечаткой в превосходно изданном томе бытия.

Он сидел в кофейне, подперев щеку холеной рукой, и взирал на суету улицы с печалью павшего ангела, который точно знает, что приличному человеку в этом мире и поговорить-то не с кем, кроме как с собственным отражением в витрине. В его позе угадывалась монументальность античной статуи, волей судеб облаченной в добротный чесучовый пиджак.

«Мир, – думал он, поправляя пенсне, – есть лишь совокупность вибраций. Гармония сфер, о которой твердил Пифагор, сегодня поправа грубыми подошвами обывателей. Мы утратили чуткость к тонким эфирным токам, к деликатному шороху бытия...»

В этот момент за соседним столиком произошло событие ничтожное, но фатальное. Юная особа в огромных наушниках достала из сумочки пакетик с мармеладом. Она медленно, с каким-то сосредоточенным упоением, провела ногтем по пластиковой зазубрине. Раздался долгий, сухой, щекочущий звук: ш-ш-ш-р-р-ык.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его левое веко предательски дернулось.

– Вот оно! – воскликнул он вдруг, обращаясь к испуганному официанту. – Вы слышали? Это же чистейшая автономная сенсорная меридиональная реакция! Наша публика, невежественная и сирая, называет это «мурашками», не понимая, что в этот миг по затылку пробегает электрический ток самой вечности. ASMR – это, милейший, когда шепот или легкое постукивание по дереву вызывает у человека состояние, близкое к нирване. Это тончайшая настройка нервных окончаний!

Официант попытался боком уйти к стойке, но Платон Пантелеймонович уже вцепился в его рукав. Глаза его заблестели недобрым, лихорадочным огнем.

– Но вы только вдумайтесь, – голос Похотливого из академического баритона вдруг перешел в вкрадчивый, сиплый полусшепот. – Ведь этот шелест пакетика – он же точь-в-точь как шорох кружевных панталон, которые стягивает с себя бабища в дешевом номере на окраине Питера. Понимаете, к чему я клоню? Все эти ваши «меридиональные реакции» – просто прикрытие для чесотки в паху!

Он подался вперед, обдав официанта запахом кофе и старых библиотек.

– Природа хитра. Она подсовывает нам это щекоотание в ушах, чтобы мы не забывали о главном – о потной, тяжелой плоти. Вот эта девица... она же не просто мармелад ест. Она же, сучка, звуки издает такие, будто губами по небритой щеке елозит. Чвякает, понимаешь? И у меня внутри все так и зудит. Этот ваш ASMR – это когда какая-нибудь халда тебе в самое ухо дышит, сопит, как плечевая на стоянке, и когтями по столу скребет, чтоб ты, дурак, сразу понял: сейчас начнется непотребство.

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, ослабил галстук. Его эрудиция окончательно капитулировала перед внутренним рогатым сатиром.

– Какая там «гармония сфер»? Обычный блуд! Когда она ногтями по расческе водит в этих своих интернетах – это же она тебя, милок, за самое нутро щиплет. Хочет, чтоб ты слюну пустил, как кобель при виде течной суки. Гляди, как зашла... сейчас еще шептать начнет, сволочь, про «расслабление», а у самой в глазах – только койка и грязные простыни. Тьфу!

Он резко встал, опрокинув чашку. Коричневая лужица медленно поползла по скатерти, издавая едва слышное кап-кап-кап.

– Слышишь? – прошипел Похотливый, указывая пальцем на пятно. – Капает... Совсем как в том притоне, где я в девяносто шестом...

Не договорив, он стремительно вышел, оставив после себя запах нафталина и густое, липкое недоумение.

Автотрофность

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы так, будто сдерживал внутри себя всю мудрость Александрийской библиотеки. Его пенсне отражало осеннее питерское небо, а в мыслях царила стерильная чистота высокого интеллекта. Он размышлял о судьбах цивилизации, о том, как дух человеческий медленно отряхивает прах материализма.

В руках он держал научно-популярный вестник. Статья на развороте была посвящена автотрофам – существам, способным синтезировать органические вещества из неорганических.

«Какое величие замысла! – думал Платон Пантелеймонович. – Автотрофность – это же высшая форма независимости. Представьте: растениям не нужно никого пожирать. Они берут солнечный свет, углекислый газ, воду и – вуаля! – создают жизнь из ничего. Это ли не идеал целомудрия? Никакой суеты, никаких плотских appetitов, только фотосинтез и хемосинтез. Чистая энергия космоса, преобразующаяся в материю без греховного участия зубов и желудков».

В этот момент за соседний столик приземлилась пышная дама в ярко-красном берете. Она с аппетитом вонзила ложечку в эклер, и капля жирного крема предательски повисла на ее нижней губе.

Платон Пантелеймонович дернулся. Искра просвещения в его глазу сменилась мутным, липким блеском.

– Вот посмотрите, мадам, на этот ваш эклер, – внезапно произнес он вслух, подаваясь вперед. – Вы же типичный гетеротроф. Вы потребляете готовое, вы хищница в кружевах! А ведь природа дала нам пример автотрофов. Растения, мадам, они не суетятся. Им не нужны калории, чтобы поддерживать... кхм... объем. Они питаются светом. Но вы понимаете, к чему это ведет?

Дама замерла с открытым ртом.

– Это ведет к тому, – голос Похотливого опустился до хриплого шепота, – что истинная автотрофность – это когда тебе никто не нужен для удовлетворения. Но человек – тварь зависимая. Вот вы сейчас жрете этот крем, а ведь это суррогат. Понимаете? Природа хочет, чтобы мы синтезировали радость сами, но мы ищем ее в чужих телах. Вот взять, к примеру, бабу...

Он облизнул пересохшие губы, и его лощеный тон начал стремительно осыпаться, как штукатурка в дешевом притоне.

– Баба – она ведь как почва для фотосинтеза, только грешная. Вы думаете, я про науку? Да какая там наука, когда у них под юбками такой «углекислый газ», что у любого хлорофилл закипит! Я вчера видел одну в трамвае – чистая неорганика, костлявая, сухая, а глазами так и ищет, во что бы свои корни запустить. Автотрофы, говорите? Хрен там! Каждая вторая – паразит на соках моего либидо. Они ж из меня всю энергию высасывают, как береза из канавы, а взамен что? Фотосинтез? Нет, мадам, взамен они только потеют и требуют новых вливаний в свои чашелистики.

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, его пенсне запотело.

– Хемосинтез у них там, понимаешь, в темноте происходит, где солнце не светит. Разведут сырость, а ты стой и синтезируй им органику, пока ноги не отнимутся. Все эти ваши «цветочки» – это просто замануха, чтобы приличный микроэлемент вроде меня в их топку закинуло. И ведь как сосут, стервы, никакой совести, чистое поглощение биомассы!

Дама в красном берете медленно поднялась, перекрестилась эклером и, не оборачиваясь, попятилась к выходу. Платон Пантелеймонович проводил ее тяжелым взглядом, вытер лоб и снова устался в журнал.

– Да, – пробормотал он, возвращаясь к образу мудреца, – автотрофность – это путь богов. Но, боже мой, до чего же сладка эта грязная, плотоядная гетеротрофность...

АВТОХТОННОСТЬ

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы так, будто удерживал ими всю тяжесть античной философии. Над ним витал ореол исключительной благопристойности: накрахмаленный воротничок подпирал подбородок, а взгляд, устремленный в окно, выражал глубокую скорбь о несовершенстве мироздания.

– Взгляните на этот пейзаж, – изрек он в пространство, обращаясь к испуганному официанту. – В нем сквозит истинная автохтонность. Понимаете ли вы, юноша, глубину этого термина? Это не просто коренное происхождение. Это состояние бытия, когда дух неразрывно слит с почвой, из которой он произрос. Автохтонность – это первозданная чистота локального генезиса, отсутствие наносного, чуждого, импортного. Это когда само небо над этой мостовой является естественным продолжением этих самых бульжников.

Официант кивнул и попытался ускользнуть, но Платон Пантелеймонович придержал его за рукав.

– Вот взять, к примеру, политическую карту мира. Если народ не автохтонен, если он – пришлый элемент, то в нем нет той хтонической мощи, понимаете? Без связи с недрами все превращается в симулякр. Настоящая культура обязана быть почвенной, она должна пахнуть черноземом и вековыми традициями, а не духами из парижской лавки.

В этот момент за соседним столиком произошло роковое событие: пышнотелая дама в леопардовом пальто, пытаясь достать телефон, случайно уронила на пол губную помаду. Тюбик с характерным стуком покотился прямо к ногам Похотливого.

Взгляд Платона Пантелеймоновича мгновенно сменил фокус. Благородная скорбь испарилась, уступив место лихорадочному блеску.

– Автохтонность... – пробормотал он, и его голос заметно охрип. – Вот она, ирония судьбы. Помада упала на землю. Слияние искусственного с первобытным. А ведь если вдуматься, любая женщина – она же как та почва. Только и ждет, чтоб в нее что-нибудь упало. Вы посмотрите на эту мадам! В ней же этой автохтонности – хоть залейся, коренная порода, так сказать.

Он подался вперед, игнорируя попытки дамы поднять предмет.

– У нее же бедра – как тектонические плиты, – зашептал он, и слюна предательски скопилась в углу его рта. – Вся такая местная, сочная, прямо из этой грязи вылепленная. Какая тут, к черту, геополитика, когда у нее под леопардом, небось, такие угодья, что никакой плуг не перепашет. Вот вы говорите – корни. А я скажу – соки! У такой бабищи соки должны быть ядренные, как самогон. Она же вся так и прет наружу, как опара из кадушки.

Платон Пантелеймонович уже не смотрел на официанта. Он сверлил взглядом изгиб спины дамы, и его лексика окончательно потеряла лоск.

– Глянь, как кряхтит, кобыла породистая. Жопа – во! Сразу видно – наша, автохтонная, не какая-нибудь там худосочная вертихвостка из модных журналов. Такую если прижать в подворотне к стенке, так она тебя сама в ту почву и вкатает, еще и добавки попросит. Хтоническая мощь, мать ее... В ней же гущи столько, что палец не просунешь, а если просунешь – засосет по самый локоть. Вот это я понимаю – связь с истоками. Это вам не дебаты в парламенте, это чистая физиология выживания вида в естественной среде обитания.

Дама, наконец, подняла помаду и, почуяв неладное, стремительно направилась к выходу. Платон Пантелеймонович проводил ее плотоядным взглядом, в котором от эрудита не осталось и следа – только голый, неприкрытый инстинкт обитателя пещер.

– Ушла, – вздохнул он, вытирая губы платком. – Скрылась в тумане, унося свою автохтонную прелесть. А вы, юноша, все о высоком... Да, – добавил он ледяным тоном, – именно

так древние греки и понимали связь с землей. Невежество нынешней молодежи просто поразительно.

Аггравация

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, подперев кулаком чело, исполненное, как ему казалось, сократовской думы. Он взирал на прохожих сквозь пенсне с достоинством человека, который не просто пьет цикорий, а созерцает крах цивилизаций.

– Посмотрите на этот осенний петербургский сплин, – шептал он в пространство, поправляя галстук-бабочку. – Как изысканно природа симулирует упадок. Это ведь чистейшей воды метафизика. Мы окружены знаками, которые лишь притворяются значимыми.

Его мысли текли плавно, как патока, задевая края Гегеля и Канта. Но тут случилось непонравимое: официант, юноша бледный со взором горящим, споткнулся и пролил каплю сливок на ботинок Платона Пантелеймоновича. Юноша тут же схватился за сердце, закатил глаза и начал театрально шептать: «О, пощадите, я слаб, у меня мигрень, я не спал три ночи из-за экзистенциального кризиса...»

Платон Пантелеймонович замер. В его голове щелкнуло.

– Вот оно! – воскликнул он, и голос его из бархатного баритона превратился в скрипучий фальцет. – Классическая аггравация! Посмотрите на этого симулянта! Аггравация, милейший, – это когда человек, имея реальный недуг или мелкую оплошность, сознательно раздувает симптомы до размеров вселенской катастрофы. Вы не просто пролили сливки, вы симулируете душевную болезнь, чтобы скрыть свою криворукость, точнее говоря, рукожопость!

Он подался вперед, и его пенсне угрожающе качнулось.

– Аггравация – это бич нашего времени. Это когда прыщ выдают за гангрену ради сочувствия. Но позвольте, разве не тем же самым занимаются бабы? Возьмем, к примеру, Лизочку из третьей парадной. Стоит ей увидеть меня, как она начинает аггравировать свою одышку. Ой, мол, Платон Пантелеймонович, я так бежала, так запыхалась, грудь-то так и ходит ходуном под кофточкой, аж пуговицы трещат! А сама, стерва, специально декольте пониже нацепила и дышит как паровоз, чтоб я на ее «симптомы» пялился.

Лицо Платона Пантелеймоновича пошло красными пятнами. Высокопарность слетела, как дешевая позолота с карманных часов.

– Это ж чистый разврат под видом медицины! Придет такая, губы покрасит, будто у нее лихорадка, и стонет: «Ах, голова кружится, поддержите меня под локоток». А сама локтем так и норовит прижаться к самому сокровенному. Аггравация у них в крови! Любая заноза в пальце превращается в повод, чтоб я ей этот палец сосал, дескать, яд вытягиваю. И ведь знают, шельмы, что я – человек науки, я мимо хвори не пройду. Напридумывают себе колики в самых непотребных местах, а ты сиди, диагностируй эти их «выпуклости», пока слюна не потечет. Тьфу! Грязь одна, и все ради того, чтоб честного интеллектуала в кровать затащить через аптеку!

Официант, забыв про мигрень, медленно пятился к барной стойке. Платон Пантелеймонович, уже не стесняясь, вытирал ботинок салфеткой, бормоча про «сочные ляжки, которые симулируют ревматизм ради массажа».

Агиография

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, скрестив ноги в безупречно отглаженных брюках, и взирал на мир сквозь пенсне с той благостной грустью, с какой взирают лишь на неразумных детей или на плохо прожаренную котлету. В руках он держал увесистый том в кожаном переплете.

– Агиография, – прошептал он в пространство, пробуя слово на вкус, как редкое вино. – Какой возвышенный термин. Наука о житиях святых, дисциплина, очищающая дух! Ведь что есть агиография, если не попытка запечатлеть сияние абсолюта в тленной плоти? Это изучение подвигов, аскезы и тех чудесных знамений, что сопровождали мучеников. Как важно в наш век духовного оскудения помнить о святом Алексии, человеке Божием, или о девах-великомученицах, чей взор был обращен лишь к небу...

Платон Пантелеймонович зажмурился от эстетического восторга. Он представлял себе монастырские скриптории, запах воска и строгие лики на иконах. Мир казался ему храмом, где даже порыв ветра – это дыхание вечности.

В этот момент за соседний столик присела дама. Она была в узком шелковом платье, которое при каждом движении издавало звук, похожий на вздох искушения. Дама неловко потянулась за меню, и – о, ужас! – тонкая бретелька соскользнула с ее плеча, обнажив полоску кожи цвета топленого молока.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Пенсне опасно накренилось.

– Разумеется, – начал он вслух, обращаясь к чашке эспresso, но косясь на плечо соседки. – Агиография учит нас смирению плоти. Но ведь плоть – это сосуд! А если сосуд, скажем прямо, такой... фигуристый, то и наполнение его требует особого, хе-хе, подхода. Вот взять житие святой Марии Египетской. Она ведь, до того как уйти в пустыню, была девкой, прямо скажем, оголтелой. И в этом есть глубокий символизм!

Он подался вперед, и его голос из бархатного баритона превратился в вязкий шепот.

– А ведь почему она в пустыню-то рванула? Потому что приелось! Когда тебя каждый матрос в Александрии по три раза на дню охаживает, тут волей-неволей о небесном задумаешься. Но мы-то, грешные, не в пустыне! Мы в гуще жизни. И эта бретелька, милостивая государыня, она ведь как перст судьбы. Вы вот думаете – случайность, а я вижу в этом метафизический призыв к соитию. Потому что если кожа такая гладкая, то это ж не просто так природа старалась, это чтоб ладонь скользила, как по маслу, понимаете?

Дама испуганно замерла, а Платона Пантелеймоновича уже несло по кочкам его воспаленного сознания. Лицо его покраснело, узел галстука съехал набок.

– Какая там, к черту, святость, когда у вас этот шелк на зад у так натянулся, что все анатомические подробности так и лезут в глаза, как оглашенные! Это же чистый соблазн, едрена вошь! Вы посмотрите на эти изгибы – это ж не линии судьбы, это инструкция по эксплуатации. Я вот сижу, рассуждаю о подвижниках, а сам чую: во мне такой зверь проснулся, что никакой аскезой не уймешь. Вон та бабища за кассой – тоже ведь, небось, мечтает, чтоб ее прижали в подсобке между мешками с арабикой так, чтоб искры из глаз посыпались. Все мы из мяса и соков сделаны, и нечего тут кружева плести! Снимайте вы это платье, мадам, к чертовой матери, потому что агиография агиографией, а когда у мужика кровь к корню приливает, тут не жития читать надо, а делом заниматься, пока койка не развалится!

Дама вскочила и, не оборачиваясь, выбежала из кофейни. А наш отрицательный герой тяжело дышал, вытирая вспотевший лоб томом о святых мучениках.

– Вот она, современная духовность, – горько констатировал он, поправляя пенсне. – Никакого терпения к истинному просвещению. Совсем люди о душе забыли.

АГНОНИМ

Платон Пантелеймонович Похотливый нес свой профиль по Невскому проспекту с таким достоинством, будто лично курировал движение тектонических плит. Его пенсне, казалось, фильтровало реальность, оставляя в сознании лишь дистиллят высокой культуры.

– Посмотрите на эти липы, – обратился он к случайному прохожему, застрявшему в ожидании зеленого света. – В их графике читается некая фатальная предопределенность. Мир, сударь, – это всего лишь текст, который мы читаем с запинками.

Прохожий, молодой человек в кепке, неосторожно хмыкнул:

– Текст-то оно текст, только вот некоторые слова в нем – сплошные агнонимы. Слыхали такое?

Платон Пантелеймонович замер. Глаза его за стекляшками восторженно блеснули.

– О, юноша! Вы затронули струну моей души. Агноним – это ведь не просто слово, значение которого человеку неизвестно. Это черная дыра в лексиконе, слепое пятно лингвистики! Мы слышим звук, видим буквы, но суть ускользает, как истина в речах министров. Для обывателя «колливубл» или «пуантилизм» – это агнонимы, семантические призраки. Но ведь в этом-то и трагедия: когда мы не понимаем слова, мы начинаем его воображать.

Он взял молодого человека за пуговицу пальто. Голос Платона Пантелеймоновича стал тише, в нем появилась хрипотца.

– Вот и с дамами, знаете ли, та же филологическая катастрофа. Баба – она ведь по сути своей сплошной агноним. Ты ее вроде как читаешь, буквы видишь – юбка там, чулки в сетку, локоны эти крашенные... А что внутри? А внутри у нее, простите, такой лексический хаос, что никаким словарем Даля не прикроешь.

Платон Пантелеймонович оглянулся и придвинулся к уху собеседника, обдав того запахом дешевого коньяка и мятной пастилки.

– Вот взять хоть Зинку из второй парадной. Вроде понятная конструкция, а как начнет кормой вилить – чистый агноним! Смотришь на ее тылы и понимаешь: слово есть, а смысла в голове не хватает. Она ж, подлюка, специально так вышагивает, чтоб у тебя в мозгах все заклинило. Ты ей про деконструкцию смыслов, а она тебе – зенки накрасила и прет, как танк на амбразуру.

Стиль Платона Пантелеймоновича стремительно терял былую позолоту.

– И ведь что характерно: эти кобылы пользуются нашей безграмотностью. Вывалит она свои прелести на прилавок, кофточку расстегнет на две пуговицы лишних – и привет, приплыли. Ты стоишь как баран, глазами хлопаешь, а у нее там под подолом такие агнонимы запряжаны, что никакой лингвист не разберет. Ржут, твари, и хвостами крутят. Вся мировая геополитика – это ж та же херня: кто кого переглядит и кто глубже декольте предъявит. Жизнь, мил человек, – это когда ты ищешь значение слова «любовь», а находишь грязную подворотню и потекшую тушь на подушке. Тьфу!

Платон Пантелеймонович внезапно отпустил пуговицу, поправил пенсне и, вновь обретая величественную осанку, кивнул опешившему юноше.

– Благодарю за дискуссию, сударь. Слово – серебро, а молчание – это, как правило, признак скорого адюльтера.

Агностицизм

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Амброзия», поджав губы так, словно только что проглотил абрикос вместе с косточкой и родовым титулом. Перед ним лежал свежий номер газеты, пахнувший типографской краской и безнадежностью бытия.

Платон Пантелеймонович считал себя бастионом мысли в океане пошлости. Его пенсне сияло холодным блеском высшего разума. Он смотрел на петербургскую суету за окном и думал о тщете всего сущего.

– Агностицизм, – прошептал он в пену своего латте, – вот единственное пристанище честного интеллекта. Мы, агностики, в отличие от наглых атеистов или слепых фанатиков, честно признаем: истина непознаваема. Мы стоим на пороге великого Ничего, смиренно сложив лапки. Существование высшего начала не может быть ни доказано, ни опровергнуто. Это интеллектуальное целомудрие, господа! Мы не можем утверждать, есть ли Бог, или это просто игра воображения, вызванная плохим пищеварением вселенной.

В этот момент за соседним столиком молодая официантка в слишком коротком фартуке случайно уронила поднос. Громкий лязг металла о кафель разрезал тишину, как бритва.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его взгляд, до этого устремленный в эмпирии, предательски соскользнул вниз – туда, где официантка, наклонившись за осколками, явила миру ту часть своего естества, которая никак не вписывалась в теорию непознаваемости.

В голове Платона Пантелеймоновича что-то щелкнуло. Его благородный агностицизм начал стремительно менять агрегатное состояние, превращаясь из чистого газа в липкую субстанцию.

– Вот оно, – вслух произнес он, и голос его приобрел неприятный, маслянистый оттенок. – Типичный пример. Мы говорим о границах познания, а перед нами – объект, который познать хочется немедленно и, так сказать, эмпирическим путем. Ведь что такое агностик? Это человек, который не знает. А я сейчас смотрю на это колыхание крахмального подола и понимаю, что тоже не знаю. Я не знаю, надела ли эта нимфа сегодня кружева или решила оставить нас в неведении, следуя заветам Дэвида Юма.

Он подался вперед, его глаза подозрительно заблестели.

– Видите ли, – продолжал он, обращаясь к перепуганному господину за соседним столом, – агностицизм утверждает, что наш опыт ограничен. Мы видим лишь феномен, но не ноумен – вещь в себе. Вот эта девка – феноменальна, спору нет. Но что там, под «вещью в себе»? Какова она без этой юбчонки? Можем ли мы доказать наличие кружевной подвязки, если наши чувства не дают нам прямого доступа к бедру? Это же чистый Кант! Если я не засуну руку под этот фартук, я останусь в состоянии блаженного неведения, в вечном философском поиске.

Стиль Платона Пантелеймоновича окончательно разложился. Он уже не шептал, а сипел, брызгая слюной на скатерть.

– А я ведь хочу познать! Хочу, понимаете? Но как истинный мыслитель, я сомневаюсь. Сомневаюсь, хватит ли мне пятихатки, чтобы эта агностическая тварь показала мне свою «абсолютную истину» в подсобке. Вот она, трагедия разума! Ты стоишь перед бездной, и бездна эта обтянута дешевым капроном с затяжкой на левой булке. И ты не знаешь – то ли там божественный замысел, то ли просто потная плоть, жаждущая греха. Вся мировая философия – это просто попытка оправдать тот факт, что нам всем до смерти хочется задрать подол этой реальности и впиться зубами в ее сочную, непознаваемую мякоть!

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, его пенсне запотело. Мир вокруг перестал быть собранием идей и превратился в душную очередь за дешевым удовольствием.

– Агностицизм, матушка, – рявкнул он подошедшей официантке, – это когда я не уверен, дам я тебе по заднице сейчас или подожду, пока ты принесешь счет. Неси уже, шельма, а то у меня трансцендентальное единство апперцепции сейчас в штанах взорвется.

Агрегация

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, скрестив ноги в безупречно отутюженных брюках. Его облик излучал ту тягучую интеллектуальную значительность, которая обычно свойственна либо профессорам старой закалки, либо людям, решившим, что борода скрывает отсутствие подбородка. В руках он держал свежий номер научного вестника.

«Мир – это упорядоченный хаос, – думал он, поправляя пенсне. – Все вокруг стремится к структуре. Возьмем, к примеру, агрегацию. Какое глубокое, благородное понятие! Это ведь не просто сбор данных. Это процесс объединения разрозненных элементов в единое целое для получения качественно нового результата. В экономике агрегация позволяет нам видеть за отдельными лавками мощь государственного ВВП. В технике – собирать пакеты данных в информационные потоки. Это торжество синтеза над анализом!»

В этот момент за соседним столиком официант, споткнувшись, рассыпал на поднос горсть столовых приборов. Звон серебра разрезал тишину.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его взгляд, еще секунду назад блуждавший в эмпиреях, вдруг заострился и стал маслянистым, как вчерашний чебурек.

– Вот она, агрегация в действии, – прошептал он, и голос его из бархатного баритона превратился в хриплое дребезжание. – Свалились в кучу, голубчики. А ведь в жизни, если вдуматься, все так же. Возьмем ту же статистику. Зачем мы агрегируем данные по демографии? Чтобы понять плотность населения на квадратный метр. А зачем нам плотность? Чтобы знать, где кучнее всего собраны бабы!

Он подался вперед, обращаясь к испуганной паре за соседним столом.

– Вы понимаете? Агрегация – это когда ты не просто смотришь на одну юбку, а когда их в клубе штук сорок, и все они, сука, трутся друг об друга, создавая единую массу плоти! Это же чистый профит! Чем выше уровень агрегирования, тем меньше деталей и тем больше... сока. Вот вы, милочка, сейчас – единица выборки. А если вас с подругами в сауну загнать – это уже будет суммарный показатель. Генеральная совокупность телок, понимаете?

Платон Пантелеймонович вытер пот со лба и перешел на сиплый шепот, от которого у фикуса в углу завяли листья.

– В базе данных это называется «свертка». И я бы их всех так свернул, в один такой жирный, потный агрегат... Чтобы коленки, локти, лифчики – все в одну кучу, чтоб не разобрать, где чья ляжка, а где чей хвост. Агрегация – это когда количество переходит в качество... в такое качество, что аж в паху свербит. Собрать их всех, отфильтровать по возрасту и размеру буферов, и устроить такой массовый запрос к серверу, чтоб искры из глаз!

Он резко замолчал, уставившись в пустую чашку. Его лицо, только что сиявшее «интеллектом», теперь напоминало помятую физиономию завсегдатая рюмочной в три часа ночи.

– Вот вам и наука, – добавил он, сплюнув на паркет. – Пойду, проагрегирую что-нибудь у метро.

Адгезия

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с тем выражением скорбного достоинства, которое обычно свойственно античным бюстам или старым бухгалтерам, обнаружившим недостачу. Перед ним лежал свежий номер газеты. Мир, по мнению Платона Пантелеймоновича, пребывал в состоянии прискорбного брожения, лишённого той метафизической стройности, которую он один был способен оценить.

– Взгляните, милостивый государь, – обратился он к случайному соседу, указывая пальцем на заметку о строительстве моста. – Какая вопиющая небрежность в вопросах адгезии. Ведь адгезия, если отбросить шелуху дилетантизма, есть сцепление поверхностей разнородных тел. Это фундамент бытия! Когда молекулы одного вещества впииваются в молекулы другого, преодолевая взаимное отчуждение... Это же чистый триумф близости над хаосом. Без качественной адгезии, знаете ли, и краска со стены облезет, как чешуя с дохлой рыбыны, и клей не удержит две детали в их законном соитии.

Сосед испуганно кивнул. Платон Пантелеймонович, воодушевленный термином, продолжал, и голос его начал подозрительно вибрировать:

– Ведь что такое жизнь, как не вечный поиск идеального контакта? Вот возьмем клейкую ленту или, упаси боже, битумную мастику. Там адгезия достигает апогея. Но ведь и в человеческой природе все так же! Вы думаете, политика – это идеология? Чушь! Это вопрос того, как плотно одно тело притрется к другому, чтобы их потом никаким растворителем не разлепили.

Тут официантка, проходя мимо, случайно задела рукавом его блюдце. Чашка звякнула, и капля липкого сиропа упала на скатерть. Глаза Платона Пантелеймоновича внезапно заблестели нездоровым, маслянистым блеском. Приличный член общества внутри него испустил дух.

– Вот! Видите?! – вскричал он, подаваясь вперед. – Адгезия в действии! Липнет, зараза! Прямо как вдовушка из моей парадной, Глафира, прости господи, Марковна. Она же как та мастика: если присосется своим рыхлым фасадом к твоему пиджаку в коридоре, так фиг отдерешь без потери шерсти. У нее же на уме одна сплошная межмолекулярная связь, понимаете?

Он вытер пот со лба и перешел на хриплый полусшепот:

– Все бабы – это просто разные типы поверхностей. Одна, вроде этой официантки, – гладкая, как тефлон, у нее адгезия нулевая, все с нее стекает, ничем не зацепишь. А другие – как наждачка или, не к ночи будь помянуто, сырая резина. Ляпнешься в такую – и погряз по самые помидоры. Они же тебя не за душу берут, они тебя этой самой адгезией душной обволакивают, соками своими приклеивают, чтоб ты, как муха на липкой ленте, лапками сучил, пока они из тебя все самолюбие не высосут. Тьфу! Грязь одна, а не физика. Прилипнет такая швабра в трамвае, грудью своей колыхающейся прижмет – и вот тебе, нате, готовый узел сцепления. А потом иди, оттирай этот налет совести керосином...

Платон Пантелеймонович окончательно покраснел, расстегнул верхнюю пуговицу сорочки и с ненавистью посмотрел на пятно сиропа, в котором видел теперь не плохую физику, а торжество вселенской похоти.

Он вдруг снова выпрямился, поправил пенсне и холодно добавил:

– стакан лимонада, будьте любезны. И протрите стол, здесь чрезвычайно неопрятно.

Аддикция

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Амброзия», скрестив ноги в безупречно отглаженных брюках. В руках он держал томик Канта, но взгляд его, исполненный трансцендентальной печали, был устремлен в окно, где осенний петербургский дождь омывал серый гранит мостовой.

«Мироздание – суть хрупкий сосуд, – размышлял Платон Пантелеймонович, поправляя пенсне. – Посмотрите на эти капли: они подобны слезам падших ангелов, ищущих приюта в равнодушной материи. Социальный договор трещит по швам, инфляция пожирает дух, а человечество забыло о логосе, погрязнув в суете».

Он выглядел как последний оплот высокой культуры. Официантка, ставя перед ним чашку эрл грея, случайно задела ложечкой блюдце. Раздался тонкий, дребезжащий звон.

Этот звук пронзил Платона Пантелеймоновича, как электрический разряд. Его левый глаз едва заметно дернулся.

– Вы слышали этот резонанс, милочка? – произнес он вслух, и голос его из бархатного баритона вдруг стал напоминать скрип несмазанной телеги. – Вибрация металла о фарфор... Это же чистая метафора фрикции. Вы понимаете, к чему я клоню? Вот вы сейчас ложечку уронили, а у меня в голове сразу выстроилась логическая цепочка к девальвации рубля. А почему рубль падает? Потому что нет твердости. А где у нас нынче твердость, кроме как в штанах у подзаборного ханыги, который пялится на ваши лодыжки?

Официантка попятилась, но Платона Пантелеймоновича уже несло по наклонной плоскости его внутреннего ада.

– Это же аддикция, деточка! Чистой воды навязчивость! – Он подался вперед, пенсне съехало на кончик носа. – Я ведь как философ вижу: мир – это не воля и представление, а сплошная чесотка в паху. Вот взять хоть геополитику. Зачем им эти ракеты? Да чтобы компенсировать вялость! Все эти саммиты – просто повод обсудить, у какой секретарши филейная часть круче.

Он шумно втянул воздух, и его манеры окончательно осыпались, как старая штукатурка.

– А погода? Дождь этот ваш... Гляньте, как бабищи по лужам скачут, юбки задрав. Тьфу! Грязища, слякоть, а у них в башке только одно – как бы поудобнее пристроиться под чей-нибудь зонтик, а потом и под одеяло. Я же насквозь их вижу, падших! У них же на лбу написано: «Хочу, чтоб меня в подворотне облобызали». Это болезнь, мадам, мания! Я вот сижу, Канта читаю, а сам думаю: какая у него кухарка была? Небось, с такими дойками, что он об них все свои категорические императивы стер в кровь!

Платон Пантелеймонович сорвался на хриплый шепот, его лицо покраснело. Он перешел на специфический диалект питерских подворотен, смакуя подробности анатомии прохожих дам с такой яростью, будто обличал вселенский заговор. Его высокопарная эрудиция превратилась в липкий кисель из физиологических подробностей.

– Весь мир – это одна большая потная простыня, – подытожил он, вытирая пот со лба рукавом пиджака. – И мы все на ней корчимся. Принесите еще чаю. И не виляйте задом, а то у меня сейчас дедукция окончательно распухнет!

Официантка скрылась на кухне, а Платон Пантелеймонович снова открыл Канта, пытаясь отыскать в тексте хоть одно слово, которое не напоминало бы ему о женском колене.

Аккомодация

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, окутанный облаком собственной значимости и ароматом пережаренной арабики. Его пенсне сияло, как два маленьких солнца, отражая мир, который Платон Пантелеймонович считал лишь черновиком к своим еще не написанным мемуарам. Он созерцал толпу с той кроткой беззгливостью, с какой энтомолог взирает на копошение навозных жуков.

– Мир, – шептал он в воротничок, – есть лишь проекция нашего восприятия. Феноменология духа в условиях петербургского общепита.

В этот момент за соседним столиком произошло событие ничтожное, но фатальное. Пожилой профессор в роговых очках, тщетно пытавшийся прочесть меню, внезапно замер, отодвинул листок на расстояние вытянутой руки, потом приблизил его к самому носу, сокрушенно вздохнул и принялся протирать стекла фланелькой.

– Аккомодация-с... – грустно пробормотал профессор. – Стареют цилиарные мышцы, подводит хрусталик. Не настраивается фокус.

Платон Пантелеймонович вскинулся. Слово «аккомодация» вошло в его сознание, как раскаленный гвоздь в масло.

– Аккомодация, говорите? – громко произнес он, обращаясь к испуганному профессору. – Глубоко берете, милейший. Ведь это же база, это фундамент бытия! Способность глаза приспособливаться к рассматриванию предметов на различных расстояниях... Как тонко! Хрусталик меняет свою кривизну, чтобы мы могли видеть и далекие звезды, и вон ту пятнистую муху на сахарнице.

Он подался вперед, и его глаза заблестели недобрым, маслянистым светом.

– Но вы только вдумайтесь в метафизику процесса! Когда мышца расслаблена – мы смотрим вдаль, в идеальное. Но стоит возникнуть напряжению, стоит хрусталику стать выпуклым, как мы переходим в ближнюю зону. А что у нас в ближней зоне, а? Что требует самого пристального, самого напряженного изменения фокуса?

Платон Пантелеймонович облизнул губы, и его голос из бархатного баритона превратился в хриплое клокотание.

– Женщина, вот что! На кой мне ваша оптика, если вся эта аккомодация придумана природой только для того, чтобы я мог в деталях, до мельчайшей поры, разглядеть какую-нибудь розовощекую Феклу в расстегнутом корсете! Ты ей, значит, в глаза смотришь – это дальний фокус, чистая лирика, тьфу! А потом – раз! – мышца сжалась, хрусталик выгнулся, и ты уже четко видишь, как у нее под кружевной оборкой лямка сползла на потное плечо.

Профессор начал боком отодвигаться к выходу, но Платон Пантелеймонович уже вошел в пике.

– Это же чистая физиология, папаша! Пока ты там свою кривизну настраиваешь, чтобы буквы разобрать, нормальный самец уже аккомодировал свой прибор на самое мясистое. Вот идет бабища по Невскому – издали вроде облако в юбке, а ты глазом – жик-жик! – сфокусировался, и видишь: икры-то у нее как у ломовой лошади, а декольте такое, что туда арбуз провалится и не звякнет. И вот тут начинается самое «грязное» дело – когда фокус настроен, а дистанция сокращена до неприличия. Там уже не в хрусталике дело, там другие мышцы в пляс пускаются, такие, что никаким пенсне не удержишь!

Он хлопнул ладонью по столу, перевернув чашку.

– Аккомодация – это когда ты сквозь туман интеллигентщины видишь живую, горячую плоть, готовую к употреблению! Все остальное – оптика для евнухов! Слышь, гарсон! Неси еще десерт, да позови ту пышную, что у стойки задом крутит, я ей сейчас объясню про фокусные расстояния!

Платон Пантелеймонович откинулся на спинку стула, тяжело дыша. Его взгляд, теперь уже совершенно мутный и расфокусированный, блуждал по залу в поисках новых объектов для своей биологической линзы.

Акрибофобия

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Элегия», держа мизинец так высоко, словно тот пытался катапультироваться в эмпирию. На столе лежал томик Канта, которым Платон Пантелеймонович не без успеха придавливал круассан. Его взор, затуманенный псевдофилософской грустью, блуждал по лепнине потолка.

«Мир, – думал он, – есть лишь нагромождение неточностей. Мы тонем в океане приближенности, в то время как истина требует хирургической остроты».

В этот момент за соседний столик присела дама. Она достала из сумочки блокнот и начала что-то записывать, но вдруг замерла, побледнела и принялась неистово тереть ластиком одно-единственное слово. Она стирала его так страстно, будто пыталась уничтожить саму молекулярную структуру бумаги.

Платон Пантелеймонович подался вперед. Его эрудиция вздыбилась.

– Вижу, сударыня, вы пали жертвой акрибофобии? – пророкотал он, обдавая даму ароматом несвежего кофе и вечности. – О, не пугайтесь терминологии. Акрибофобия – это патологический страх не понять смысл прочитанного или, что еще ужаснее, допустить неточность в тексте. Это интеллектуальный зуд, когда человек боится, что фраза не передает идею с аптекарской точностью. Вы боитесь, что ваше «позвольте» звучит как «отвяжитесь», и этот зазор в смыслах сводит вас с ума, не так ли?

Дама испуганно кивнула, пытаясь отодвинуть стул. Но логика Платона Пантелеймоновича уже встала на рельсы, ведущие в бездну.

– Точность – это ведь дисциплина духа, – продолжал он, и его голос из бархатного баритона начал превращаться в маслянистый шепот. – Но давайте будем честны: к чему нам точность в буквах, когда природа создала нас для точности в соитии? Вот вы, милочка, так яростно трете бумагу... А ведь это сублимация. Вы боитесь не понять смысл предложения? А я вот вчера в пивной «У Глобуса» встретил одну мадам, так у нее с акрибофобией было все в порядке. Она точно знала, какой длины и толщины должен быть аргумент, чтобы она перестала икать.

Платон Пантелеймонович облизал губы, и его взгляд стал подозрительно напоминать взгляд голодной жабы.

– Вы вот букву подтираете, а та, из «Глобуса», подтирала только тушь со щек, когда я ей объяснял, что ее левое полушарие жаждет детерминизма, а правое – просто чтобы ее как следует отперли в подсобке между ящиками с воблой. Какая уж тут точность формулировок, когда у бабы ляжки дрожат так, что никакой акрибофоб не разберет – то ли это страх Божий, то ли просто коленки в разные стороны разъезжаются от чесотки в одном месте?

Он грузно навалился на стол, сбросив Канта на пол.

– Текст – это мусор. Главное – это чтобы баба была справная, с мясистым задом, и чтобы не слова свои в блокноте выверяла, а знала, как правильно выгнуться, когда ей в ухо дышат перегаром. Понимаете, радость моя? Какая к черту точность смысла, когда у нее под юбкой такая неточность, что туда полтора батальона влезет и не поморщится? Гы.

Дама вскочила и, забыв блокнот, вылетела из кофейни. Платон Пантелеймонович посмотрел ей вслед, вздохнул и поднял Канта.

– Опять недопонимание, – пробормотал он, возвращая мизинец в исходное положение. – А ведь я всего лишь хотел обсудить тонкости терминологии.

Аксиология

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, скрестив ноги в панталонах цвета испуганного фламинго, и с глубоким вздохом созерцал кофейную пенку. В его голове, подобно тяжелым бархатным портьерам, колыхались мысли о высоком.

– Аксиология, – шептал он, деликатно оттопырив мизинец, – вот истинная колыбель человеческого духа. Учение о ценностях, этот незримый каркас, на котором держится ветхое здание нашего бытия! Ведь что есть благо, если не иерархия смыслов, диктуемая нам трансцендентным идеалом?

Мир вокруг казался ему собранием эстетических ценностей: солнечный зайчик на сахарнице был воплощением витальности, а сутулый официант – живым упреком этическому несовершенству. Платон Пантелеймонович размышлял о том, как ценности познавательные переплетаются с религиозными, создавая симфонию, достойную небесных сфер.

В этот момент за соседним столиком произошло Событие: дама в необъятной шляпе, потянувшись за салфеткой, неловко задела ложечкой блюдце. Раздался резкий, дребезжащий звон.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его левый глаз мелко задергался.

– Вот оно! – воскликнул он, обращаясь к испуганной даме. – Вы только что продемонстрировали нам крах аксиологической вертикали! Этот звон – не просто физическое колебание воздуха, это симптом обесценивания материи. Мы говорим о ценностях, о высшем благе, а что мы видим в разрезе эмпирического опыта? Мы видим трение. Столкновение. А где трение, там, матушка, и до самого интересного недалеко.

Он наклонился вперед, его голос утратил бархатистость, приобретя неприятный маслянистый оттенок.

– Вы вот ложечкой звякнули, а у меня в голове сразу выстроилась логическая цепочка. Аксиология учит нас: ценность объекта определяется субъективным влечением. А к чему влечет нормального мужика, когда он видит такую... динамику? Вот вы, мадам, шляпу нацепили, а под ней-то небось мыслишки те еще. Гляжу я на этот ваш натюрморт и понимаю: вся эта аксиология – тьфу, обертка! Ценность-то она где? Она в телесном низу, как говаривал один умный человек, пока его не погнали за аморалку.

Платон Пантелеймонович вытер вспотевший лоб салфеткой и перешел на хриплый шепот.

– Что нам теология, когда у Зинки из гастронома такие арбузы, что никакая иерархия благ не устоит? Вы мне про эстетику, а я вам про то, как у нее халат на груди трещит, когда она колбасу режет. Вот это – ценность! Это, блин, высший идеал, к которому тянется все мое естество. И плевать мне на гносеологию, когда в подворотне такие «ценности» в коротких юбках бегают, что аж в паху свербит. Вся ваша культура – это просто длинная прелюдия к тому, чтобы затащить какую-нибудь кралю за сарай и показать ей там настоящую «пирамиду потребностей».

Он жадно облизал губы, глядя на онемевшую женщину.

– Так что вы, мадам, ложечкой-то погромче звякайте. В этом звуке я слышу не музыку сфер, а скрип старой кровати в зачуханном отеле. Вот она, истинная аксиология жизни: все, что не ведет к бабе – пустой звон и интеллектуальное самолюбование!

Платон Пантелеймонович победно откинулся на спинку стула, тяжело дыша и расплываясь в сальной улыбке, совершенно уверенный, что только что преподал обществу урок высшей философии.

Акциденция

Платон Пантелеймонович Похотливый стоял у окна кофейни, заложив руки за спину с видом государственного мужа, застигнутого за размышлениями о судьбах Отечества. Его пенсне, казалось, фокусировало в себе всю мудрость веков, а накрахмаленный воротничок подпирал подбородок с такой античной строгостью, что случайные прохожие невольно поправляли галстуки.

– Мироздание, – шептал он, глядя на тающий в лужах снег, – есть не что иное, как великая акциденция.

Это слово он особенно любил, смакуя каждый слог. Для непосвященных поясним: в строгой философии акциденция – это свойство вещи, которое не составляет ее сущности. Например, то, что вы сегодня надели синий пиджак, – акциденция. Вы могли бы надеть и желтый, и полосатый, и при этом остались бы тем же самым Иваном Ивановичем. Акциденция изменчива, случайна, она – лишь временная краска на вечном холсте субстанции. Субстанция яблока – его «яблочность», а то, что оно червивое или розовое – это все акциденции, шелуха бытия.

В этот момент официантка, зазевавшись, задела подносом край стола, и фарфоровая чашка с грохотом разлетелась на куски, обрызгав туфли Платона Пантелеймоновича гущей.

Пантелеймонович вздрогнул. Его взор, еще секунду назад блуждавший в эмпириях, хищно сузился.

– Вот она, – возгласил он, указывая дрожащим пальцем на лужу, – классическая акциденция! Случайное происшествие, не меняющее сути фарфора, но радикально меняющее состояние моих штиблет. Но постойте... разве вся наша жизнь не состоит из таких внезапных впрысков хаоса?

Он перевел взгляд на официантку, которая испуганно собирала осколки. Его голос из академического баритона вдруг перешел в вязкое, маслянистое пришепетывание.

– Вот и девки нынче... – начал он, и в глазах его вспыхнул недобрый огонек. – Идут они, понимаешь, субстанции эдакие, грудь вперед, а на мордах – сплошная акциденция. Штука-турки навалят, губы надуют, будто их пчелы покусали в темном переулке. Это ж все наносное, милочка! Ты ее за эту акциденцию хвать, а там – пшик. Случайный признак. А сущность-то у них одна – пошире ноги расставить да в карман залезть.

Он подошел ближе к девушке, обдав ее запахом дешевого табака и застарелого философского пыла.

– Глянь на себя, – прохрипел он, уже не заботясь о манерах. – Ты ж сейчас думаешь, как бы эту юбчонку повыше задрать, чтоб чаевых отвалили. Акциденция у нее, видишь ли, разбилась. Да вы все, бабищи, как те чашки: снаружи разрисованные, а внутри – одна пустота и гнилая жижа. Любая из вас за пятак готова такую «акциденцию» изобразить, что у приличного философа штаны треснут. Чистое мясо, прикрытое случайным лоском. Тьфу! Только и ждете, чтоб какой-нибудь боров вам эту субстанцию в коленках расшатал.

Платон Пантелеймонович вытер вспотевший лоб грязным платком и, не заплатив за кофе, вывалился на улицу, оставив после себя тяжелый дух интеллектуального распада.

Алертность

Платон Пантелеймонович Похотливый стоял у окна кофейни, сложив руки за спиной с видом римского сенатора, созерцающего закат империи. Его пенсне отражало серый петербургский полдень, а в уме роились конструкции небывалой стройности. Он размышлял о судьбах цивилизации, о том, как измельчал современный дух, утративший античную тягу к совершенству.

– Взгляните, – обратился он к случайному соседу по столику, несчастному студенту с учебником логики. – Мир пребывает в состоянии прискорбной летаргии. А ведь спасение человечества – в алертности. Вы понимаете, о чем я? Это не просто бдительность часового, это состояние максимальной когнитивной готовности, интеллектуальный тонус, позволяющий мгновенно реагировать на любые стимулы среды. Это, если хотите, эрекция разума перед лицом бытия!

Студент кивнул, надеясь, что на этом лекция закончится. Но тут произошло Событие.

Мимо окна, пошатываясь под порывом ветра, прошла дородная дама в ярко-алом пальто. Внезапно она поскользнулась на арбузной корке, нелепо взмахнула ридикилем и, издав короткий вскрик, приземлилась прямо в неглубокую, но выразительную лужу.

Глаза Платона Пантелеймоновича вспыхнули недобрым, маслянистым блеском. Его плечи расправились, а голос из академического тенора перешел в хриплый баритон.

– Вот! – вскричал он, тыча пальцем в стекло. – Наглядная иллюстрация отсутствия алертности! Бедная женщина пала жертвой собственной расслабленности. А ведь если бы ее внутренний радар был настроен на прием, она бы считала траекторию этой корки за милю. Но нет, она шла, погруженная в мещанский кисель своих мыслей. А знаете, почему у дам сейчас такая низкая алертность?

Он придвинулся к студенту так близко, что тот почувствовал запах дешевого табака и мятных леденцов.

– Потому что вся их алертность теперь уходит в задницу, милейший! Да-да, не делайте такое лицо. Раньше баба как – она была начеку, она чужла мужика за версту, как кобыла жеребца. У нее каждый нерв дрожал: не зажмет ли кто в подворотне, не потащит ли на сеновал. Это держало их в форме! А сейчас что? Распустились, кобылы... Тьфу!

Платон Пантелеймонович плотоядно облизал губы, и его взгляд окончательно затуманился чем-то нечистым.

– Эта вон, в красном... упала, и юбка-то задралась. Видали? Колготки в сеточку, а ляжки – как у доброй свиньи, рыхлые. Это от чего? От недостатка духовного напряжения! Какая там алертность, когда у нее в башке только как бы пожрать да чтоб какой-нибудь боров ее погладил по жирному боку. А ведь если ее сейчас, в этой луже, прижать как следует, так она сразу «алертной» станет, заверещит, как резаная, задержится... Им же, бабам, только того и надо – чтоб их встряхнули хорошенько, чтоб почуяли они грубую силу над своим бабьим естеством.

Он шумно втянул носом воздух, и пенсне его окончательно запотело.

– Мировая политика, говорите? Глобализация? Чепуха! Все сводится к одному: либо ты алертен и берешь бабу за загривок, пока она не шлепнулась, либо ты смотришь, как эти сочные туши валяются в грязи, и думаешь – а не пристроиться ли рядом? Ибо нет ничего более истинного в этом лживом мире, чем запах потной бабы в красном пальто, которая только что осознала свою полную незащищенность перед лицом гравитации и мужского аппетита...

Студент, не допив кофе, пулей вылетел из кофейни. Платон Пантелеймонович проводил его презрительным взглядом, вытер испарину со лба и прошептал в пустоту:

– Совсем молодежь не держит интеллектуальный удар. Никакой готовности. Никакой... алертности.

Аллегория

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, подперев челюсть указательным пальцем, как и подобает человеку, несущему на плечах тяжелое бремя европейской образованности. В его глазах отражалась не суета петербургской улицы, а вековые пласты культуры. Он созерцал окружающее через призму эстетики, видя в каждом прохожем не просто обывателя, а живой символ.

«Мир есть текст, – благостно размышлял Платон Пантелеймонович, поправляя пенсне. – И в этом тексте нам крайне важна аллегория. Ведь что это такое, если говорить языком просвещенным? Это иносказание, когда за конкретным образом, как за тонкой вуалью, прячется отвлеченное понятие. Справедливость мы видим в женщине с повязкой на глазах и весами, истину – в нагом теле, выходящем из колодца. Без аллегии жизнь – лишь груда костей, лишенная духа».

В этот момент за соседним столиком случилось досадное: официант, неловко взмахнув подносом, уронил на пол тарелку с эклером. Пирожное шлепнулось в пыль, брызнув кремом на ботинок Платона Пантелеймоновича.

Он вздрогнул. Его взор, еще секунду назад блуждавший в эмпиреях, сфокусировался на белой лужице у туфли.

– Вот вам и аллегория, господа, – произнес он вслух, обращаясь к опешившему официанту. – Глядите глубже! Этот эклер – не просто десерт. Это аллегория судьбы, когда нежное нутро выставлено на поругание грубой мостовой. И ведь как точно подмечено! Вы только посмотрите на эту форму. Она же подозрительно напоминает мне... хм... определенные изгибы.

Он подался вперед, и его голос приобрел неприятную хрипотцу.

– Вы думаете, я о кулинарии? Нет, голубчик. Аллегория – штука честная. Вот эта сливочная начинка, которая так бесстыдно вылезла наружу... Знаете, кого она мне напоминает? Вдову одну, Аграфену Саввишну. Она, когда корсет расшнурует, так же из платья вываливается – пышно, липко и с претензией на сладость.

Платон Пантелеймонович вытер пятно платком и жадно его обнюхал.

– И ведь логика железная! Погода нынче сырая, а сырость – это что? Это предрасположенность к соитию в подворотнях. Гляньте на ту тучу – она же развалилась на небе, как девка на сеновале, раскинула ноги-молнии и ждет, когда ее громом по хребтине огреет. А вы мне – «простите, я тарелку разбил». Какое там «разбил»! Ты мне, подлец, прямо в морду сунул напоминание о том, как бабы текут, стоит им только засаленную пятыхатку показать.

Он тяжело задышал, а его пенсне опасно перекошилось.

– У этой твоей аллегии, парень, рожа немытая и юбка задрана. Все в мире сводится к одному: либо ты ее, либо она тебя за пуговицу держит и на водку клянчит. Мировая политика? Да та же потаскуха, только в бриллиантах. Жаждет, чтоб ее пожестче прижали, да в ухо шепнули гадость какую. Тьфу, слюни одни... Эклер он уронил! Посмотри на этот крем, он же как...

Платон Пантелеймонович перешел на свистящий шепот, употребляя слова, от которых у буфетчицы за стойкой пунцово вспыхнули уши. Просвещенный муж окончательно исчез, оставив на стуле дергающегося сатира, который видел в небесах не вечность, а гигантское непотребство.

Аллюзия

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Элегия», придерживая мизинец над чашкой так высоко, будто тот пытался подать сигнал SOS небесам. Его лицо выражало глубочайшую скорбь по поводу несовершенства бытия. Он размышлял о прерафаэлитках и о том, как нынешняя весна беспардонно наступает на пятки классицизму.

– Взгляните на этот свет, – прошептал он случайному соседу, – это же абсолютная аллюзия. Как у Т. С. Элиота в «Бесплодной земле». Апрель – самый жестокий месяц, он смешивает память и желание, заставляя корни тянуться сквозь мертвую землю. Вы ведь понимаете, что аллюзия – это не просто намек, это мост, перекинутый из одной культуры в другую, тончайшая нить, связывающая нас с Античностью без прямого цитирования?

Сосед, пытавшийся просто доесть свой эклер, испуганно кивнул.

В этот момент за соседним столом официантка уронила поднос с апельсиновым соком. Стекло разлетелось вдребезги, а липкая рыжая лужа потекла прямо к ботинкам Платона Пантелеймоновича.

Он посмотрел на пятно. Его глаз дернулся. Высокий лоб прорезала морщина, в которой могла бы спрятаться целая библиотека.

– Ха, – сказал он, и голос его из бархатного баритона превратился в скрип несмазанной телеги. – Вот вам и аллюзия на Даная. Зевс сошел к ней золотым дождем, а эта дура плеснула мне на штiblеты суррогат из концентрата. Золотой дождь, понимаете? А Даная-то небось сидела в своей башне, скучала, и только и ждала, когда ей сверху что-нибудь капнет.

Платон Пантелеймонович наклонился к соседу, и его эрудиция начала стремительно линять, как дешевый ситец.

– Вот и бабы все такие. Строят из себя античные статуи, цитируют Ахматову, а чуть что – сразу в лужу. Вы посмотрите на эту официантку. Трясется, кобыла. У нее же в башке ни одной мысли про Элиота, у нее там только как бы юбку повыше задрать, чтоб чаевых больше отсыпали. Она ж как та Даная – только подставляй, куда полется.

Он брезгливо ткнул тростью в лужу сока.

– И ведь каждая мнит себя загадкой, аллюзией на вечную женственность. А на деле – обычное мясо в колготках. Вот вы, милейший, думаете, она из-за сока расстроилась? Черта с два! Она просто представила, как этот сок по ее ляжкам течет, когда ее какой-нибудь залетный грузчик в подсобке прижмет. У них же все через это... через инстинкт. Чистая физиология, обернутая в кружева. Тьфу! Вся эта ваша культура – лишь способ прикрыть тот факт, что бабе хочется, чтоб ее просто хорошенько встряхнули, как этот грязный поднос.

Платон Пантелеймонович тяжело дышал. От его недавнего изящества не осталось и следа; он сидел, расставив колени, и плотоядно разглядывал щиколотки проходящих мимо дам.

– Золотой дождь... – прохрипел он напоследок. – Все золото мира не стоит одной нормальной бабы в правильной позе. А они еще обижаются, когда им правду в лицо говоришь. Дуры... Натуральные дуры.

Он резко встал, не допив кофе, и вышел, тяжело опираясь на трость, оставляя за собой липкие следы и запах дешевого табака.

АЛОГИЗМ

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, сжимая тонкими пальцами фарфоровую чашку так, словно это был пульс самой цивилизации. Над его накрахмаленным воротничком возвышалось лицо редкой интеллектуальной лепки, на котором застыло выражение бесконечной скорби по уходящей культуре. В мыслях его теснились античные портики, категорические императивы и тончайшие кружева метафизики.

«Мир, – думал Платон Пантелеймонович, меланхолично глядя на сахарницу, – есть лишь совокупность феноменов, стремящихся к упорядоченности. Мы, последние из могикан духа, обязаны блюсти чистоту логоса в этом хаосе бытия».

В этот момент за соседним столиком произошло событие ничтожное, но фатальное: грузная дама в кричащей шляпе, пытаясь достать платок, неловко задела сахарницу. Белые кубики с сухим стуком рассыпались по скатерти.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его бровь взметнулась вверх, как испуганная птица.

– Видите? – обратился он к опешившему официанту, указывая на рассыпанный рафинад. – Вот он, чистейший алогизм в действии! Вы ведь понимаете, что такое алогизм, юноша? Это не просто отсутствие логики, это ее полное, злонамеренное отрицание. Это когда следствие не просто не вытекает из причины, а плюет ей в лицо, танцуя на руинах здравого смысла.

Официант замер, прижав поднос к груди.

– Алогизм – это фундамент нашего абсурдного существования, – продолжал Похотливый, и голос его начал терять салонную бархатистость. – Вот сахар лежит. Казалось бы – сладкий кристалл. Но в контексте этого нелепого падения он превращается в символ энтропии. А где энтропия, там и распад. А где распад – там, извольте видеть, и бабы!

Он подался вперед, и его глаза хищно блеснули.

– Ведь женщина – это и есть ходячий алогизм в юбке, понимаешь ты, любезный? Вот эта корова уронила сахар, а у меня в башке уже крутится, как вчерашняя Верка из четвертой парадной... Она же как этот рафинад – снаружи белая, а начнешь лизать – сплошной диабет и никакой логики. Ты ей про Канта, а она тебе – «купи сапоги». Алогизм! Полный разрыв причинно-следственных связей между ее куриным мозгом и моими возвышенными порывами.

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, его воротничок помялся.

– И вот ты стоишь, смотришь на эти кубики, а видишь ее ляжки, такие же рыхлые и рассыпчатые. И понимаешь, что все в мире – от падения курса рубля до дождя за окном – ведет к одному: к тому, как эта халда задирает подол в темном коридоре. Весь этот ваш алогизм – просто ширма для того, чтобы прикрыть похоть, которая прет из каждой щели, как деготь из дырявой бочки! Тьфу!

Он грохнул чашкой о блюдце, обрызгав скатерть коричневыми каплями, и добавил уже совсем хрипло:

– Сахар она рассыпала... Дура ты, баба, и логика у тебя – между ног, такая же кривая и потная. Понарожали алогизмов, теперь порядочному человеку и кофе выпить не с кем, чтоб не вспомнить, как Верка в подворотне...

Платон Пантелеймонович резко встал, поправил внезапно ставший тесным пиджак и, не глядя на онемевшую публику, вылетел вон, волоча за собой шлейф невидимого, но густого амбре из высшей философии и низменных инстинктов.

Амбассадор

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Экзистенция», скрестив ноги в безупречно отутюженных брюках. Его взор, подернутый дымкой философской печали, скользил по лепнине потолка. В голове Платона Пантелеймоновича в этот момент совершался сложный алхимический процесс: он сопоставлял хрупкость бытия с матовым блеском фарфоровой чашки.

«Мир, – думал он, поправляя пенсне, – есть лишь совокупность смыслов, которые мы, избранные, транслируем в вечность. Мы – носители культурного кода, хранители логоса».

Его внимание привлекла афиша на стене: «Наш бренд ищет амбассадора».

Платон Пантелеймонович шевельнул ноздрями. Слово «амбассадор» отозвалось в нем чем-то государственным, латинским, почти имперским.

– Извольте видеть, – обратился он к юноше за соседним столиком, который неосторожно уронил ложку. – Вот вы, молодой человек, вероятно, полагаете, что амбассадор – это просто рекламный манекен? О, святая простота! Это же концепция высшего порядка. Происходит от латинского *ambactus*, что значит «слуга» или «вестник». В высоком смысле – это лицо бренда, его живое воплощение, тот, кто несет идею в массы не через сухую букву закона, а через личное обаяние и, если позволите, через плоть и кровь.

Юноша кивнул, пытаясь ретироваться, но Платон Пантелеймонович уже оседлал своего любимого конька.

– Амбассадор – это мост между идеальным миром идей и грубой материей потребителя. Он должен... как бы это выразиться... обладать магнетизмом. Вот возьмем, к примеру, амбассадора парфюмерного дома. Что он делает? Он соблазняет. А соблазн, мой юный друг, всегда пахнет не только фиалками, но и чем-то более приземленным.

Глаза Платона Пантелеймоновича вдруг масляно блеснули, а голос утратил бархатистую интеллигентность.

– Ведь если вдуматься, любая баба – она по сути своей амбассадор. Только не швейцарских часов, а природного блюда. Взять хоть вон ту, в красном, что у стойки жопой крутит. Она же транслирует чистый месседж: «Посмотрите на мои лодыжки, я готова представлять интересы грехопадения в любом подвале».

Он подался вперед, обдав собеседника запахом дешевого коньяка и застарелого вожделения.

– Ты посмотри, как она чашку держит. Это же не эстетика, это чистый призыв к акту! Амбассадорша, мать ее. Ей бы не духи рекламировать, а курсы по скоростному снятию панталон. Весь этот их «имидж» и «представительство» – просто вуаль на потной роже похоти. Я вот давеча в метро одну такую амбассадоршу видел: сидит, книжку читает, а сама ногу на ногу перекинула так, что у меня в кармане ключи расплавились. Ишь, просветительница! Знаем мы, какую ты истину в массы несешь, курва подзаборная, небось вся спина в занозах от амбарных дверей...

Платон Пантелеймонович смачно сплюнул на кафельный пол и, внезапно вернув лицу выражение скорбного величия, добавил:

– Вот таков он, мой друг, тернистый путь репрезентации смыслов в нашем эфемерном мире.

Амбивалентность

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с таким видом, будто лично курировал поставку смыслов в это брэнное заведение. Перед ним остывал раф, а в уме кипела работа: он препарировал мироздание.

– Амбивалентность, – прошептал он в пространство, пробуя слово на вкус, как редкий трюфель. – Вот истинный нерв бытия. Двойственность чувств, господя, когда объект одновременно внушает и восторг, и содрогание. Как у Эйзенштейна в монтаже, как у Гегеля в диалектике! Мир – это слоеный пирог из противоречий, где «да» всегда беременна своим «нет».

Он поправил пенсне. Вокруг царила благопристойность. Старушка ела эклер, юноша листал томик стихов. Платон Пантелеймонович чувствовал себя атлантом, держащим на плечах купол интеллектуальной мысли.

В этот момент за соседним столиком официант неловко взмахнул подносом, и капля клубничного сиропа сочно шлепнулась на белоснежную скатерть.

Платон Пантелеймонович замер. В его глазах сверкнула опасная искра.

– Видите? – обратился он к опешившему юноше со стихами. – Чистейшая иллюстрация! Это пятно – оно ведь амбивалентно. Оно – и рана на теле чистоты, и манящий плод. Это как... как бабы, понимаешь? Вот идет она, вся такая в кружевах, фифа фифой, амбивалентность из нее так и прет: морда ангельская, а в мыслях – как бы у тебя кошелек выпотрошить да на шею влезть.

Он подался вперед, голос его утратил бархатистость и приобрел тембр несмазанной телеги.

– Ты на нее глядишь – и вроде прибить охота за стервозность, и в то же время тянет прижать к косяку в темном коридоре. Вот она, двойственность! Сверху – духи «Шанель», а копни глубже – там же дикий зверь, жаждущий непотребства. Понимаешь, о чем я? Любая девка – это ходячий конфликт интересов. Она тебе улыбается, а сама прикидывает, хватит ли у тебя силенок донести ее до кровати и не опозориться.

Платон Пантелеймонович уже не шептал. Он почти рычал, и его эрудиция окончательно капитулировала перед физиологией.

– Взять хоть ту же Зинку из четвертой парадной. Интеллектуалка, говорит, в библиотеке пашет. Амбивалентность в полный рост: днем – книжный червь, а ночью, как юбку задерет, так там такие бездны открываются, что никакой Гегель не вывезет! Одна сплошная похоть и ни капли приличия. Грязища, брат, натуральная биологическая грязища, в которой мы все барахтаемся, прикрываясь высокими словами. Тьфу!

Он резко встал, опрокинув чашку. Коричневая жижа потекла по столу.

– Вот вам и диалектика, – буркнул он, вытирая руки засаленным платком. – Все в итоге сводится к тому, чтобы затащить кого-нибудь за гаражи и предаться там самому низменному дуализму.

Платон Пантелеймонович вышел на улицу, гордо неся свою одержимость мимо остолбеневших посетителей, уверенный, что только что преподал им лучший урок философии в их жизни.

Амбидекстер

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Амброзия», поджав губы так, словно только что проглотил томик Канта и теперь мучительно пытался его переварить. Его пенсне, казалось, само по себе излучало свет высшего знания, а крахмальный воротничок подпирал подбородок с такой силой, что любая мысль, ниже философской, была обязана задохнуться на взлете.

– Взгляните на этот мир, – цедил он в пространство, обращаясь к испуганному официанту. – Все сущее – лишь бледная тень идей. Гармония космоса зиждется на дуализме. Левое и правое, свет и тьма, субстанция и акциденция...

Официант, стараясь не дышать, поставил на стол чашку. В этот момент дверь распахнулась, и в зал вошел господин в экстравагантном пальто. Он на ходу достал из кармана две ручки и начал одновременно подписывать два разных документа, разложенных на стойке.

– О! – Платон Пантелеймонович воздел палец. – Зрелище для посвященных! Перед нами редчайший экземпляр – амбидекстер. Это индивид, в равной степени владеющий обеими руками. Никакой асимметрии полушарий, никакой доминанты левого над правым. Это высшая форма биологического равноправия, когда правая десница не знает, что делает шуйца, но обе делают это с одинаковым изяществом.

Он подался вперед, и его взгляд внезапно подернулся маслянистой пленкой.

– Но вы только вдумайтесь, какая за этим кроется бездна... Какое коварство природы! Ведь если человек амбидекстер, то он, по сути, универсальный инструмент порока. Вот представьте себе какую-нибудь Катю из номеров. Обычный человек ее обнимет – и рука затекла. А этот? Этот же может щипать ее за левое полупопие и одновременно выводить каллиграфическим почерком непристойности у нее на лопатке!

Голос Платона Пантелеймоновича внезапно охрип, приобретая тембр несмазанной телеги.

– Это же какая экономия времени для разврата! Обычный мужик пока расстегнет лифчик – вспотеет, а амбидекстер – р-раз! – и обеими клешнями вцепился в девичьи стати, как краб в дохлую рыбу. Ему все равно, с какого боку подкатывать. Он же, подлец, может одной рукой водку в глотку заливать, а другой в это время под юбкой у бабы инспекцию проводить, и ни одна деталь от него не ускользнет!

Он смачно сплюнул на паркет, забыв о Канте.

– Я их за версту чую, этих двуруких выроdkов. Идут такие, морды постные, а в голове – сплошной амбидекстризм. Это ж какая сноровка: левой за сиську мацает, а правой уже у нее в ридикюле шарит, чтоб на утро было на что опохмелиться. Тьфу! Двустволки похотливые! Вся их одаренность – это чтоб удобнее было баб по углам зажимать, используя обе конечности с максимальным коэффициентом полезного трения. Официант! Гнида! Тащи еще кофию, а то у меня от этих мыслей в паху чешется, как у плешивого кобеля!

Платон Пантелеймонович поправил пенсне, которое теперь сидело криво, и хищно уставился на проходившую мимо даму, прикидывая, какой рукой он бы ее схватил, будь он чуть менее философом и чуть более амбидекстером.

АМИКОШОНСТВО

Платон Пантелеймонович Похотливый пил кофе в «Элегии». Его мизинец парил над чашкой на высоте птичьего полета, демонстрируя аристократизм 80-го уровня. Лицо его выражало глубокую скорбь о судьбах человечества, хотя на самом деле он просто пытался в уме умножить 15 на 4. Из-за столика веяло элитным табаком, копеечным высокомерием и отчетливым желанием уйти, не заплатив.

«Взгляните на этот мир, – думал Платон Пантелеймонович, озирая залу через монокль, который постоянно выпадал, поскольку глазное яблоко персонажа было слишком выпуклым от постоянного возбуждения. – Всеобщее падение нравов! Мы забыли об иерархии, о дистанции, о сакральном трепете перед авторитетом».

В этот момент к соседнему столику подошел молодой человек в мятом пиджаке. Он хлопнул своего собеседника – седого профессора – по плечу и зычно хохотнул: «Ну что, старик, как делишки? Опять маешься со своими манускриптами?»

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его лицо пошло пятнами цвета перезревшей свеклы.

– Амикошонство! – выдохнул он, и это слово вылетело из его уст, как ядовитая жаба. – Чистейшее, беспримесное амикошонство.

Он повернулся к случайному соседу справа, который просто хотел доест свой круассан, и вцепился в его пуговицу.

– Вы видите это бесстыдство, милостивый государь? Само слово происходит от французского *ami* – друг и *сочон* – свинья. «Друг-свинья»! Это фамильярность, переходящая границы приличия, это отсутствие субординации, когда ничтожный червь воображает себя равным титану. Но вы вдумайтесь, сударь, вдумайтесь глубже! Почему этот юнец так беспардонно хлопает старца? Потому что в основе любого амикошонства лежит подавленная тяга к плотскому смешению!

Голос Похотливого стал тише и хриплее, а глаза подозрительно заблестели.

– Ведь что такое «свинья»? Это существо грязное, копошащееся в навозе. Амикошонство – это когда ты хочешь залезть в чужую душу без мыла, так же, как вчерашняя девка из кабаре «Красный фонарь» лезет тебе в карман своими липкими лапками. Эта рыжая, Беатриса... или как там ее, со стертymi каблуками и чесночным выхлопом. Она ведь тоже амикошонит! Называет тебя «пупсиком», а сама только и ждет, чтоб ты расстегнул портмоне, пока она обтирает своими потными ляжками твои панталоны.

Сосед попытался отодвинуться, но Платон Пантелеймонович уже вошел в пике. Его эрудиция окончательно капитулировала перед физиологией.

– Это все одно, батенька! Что политика, что этот хам с профессором. Весь мир – одна большая засаленная постель. Вот вы думаете, министр иностранных дел руку жмет коллеге просто так? Черта с два! Это амикошонство, прелюдия к тому, чтоб нагнуть соседа и вдуть ему по самые санкции. Как та хабалка с рынка, Верка, что грудями на прилавок ложится: «Возьми, милок, огурчик, сладкий, как грех». А сама стоит, почесывается под подолом, и глаза такие похотливые, коровьи... Весь этот этикет – просто ширма для того, чтобы в итоге все свелось к одному: кто кого завалит в солому и чьи панталоны полетят в угол первыми. Жизнь – это когда тебе тыкают, чтобы поскорее добраться до твоего срамного места, и никакое французское слово эту вонь не закрасит!

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, вытирая пот с залысины салфеткой, на которой остались следы крема. Он снова стал похож на приличного члена общества, лишь по его лицу пробегала судорожная усмешка человека, который только что увидел весь мир голым и очень немытым.

Амок

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Амбир», придерживая мизинец над чашкой так высоко, будто тот пытался подать сигнал о помощи. Его взгляд, подернутый дымкой экзистенциальной грусти, скользил по колоннам. Платон Пантелеймонович размышлял о судьбах цивилизации. Он видел себя атлантом, удерживающим небесный свод культуры в этом мире пластиковых стаканчиков и суеты.

– Посмотрите на этот закат, – обратился он к официанту, который просто хотел забрать счет. – Разве это не пурпур древнеримских тог? Разве не в таком освещении рождались величайшие философские трактаты о бренности сущего?

Официант кивнул и попятился. Платон Пантелеймонович вздохнул. Его эрудиция была тяжким бременем, золотым панцирем, под которым билось сердце тонкого ценителя... чего-нибудь эдакого.

В этот момент за соседним столиком молодая пара бурно обсуждала статью в журнале. Девушка, всплеснув руками, воскликнула:

– Представляешь, в новостях пишут: на островах опять случился случай амока! Человек просто схватил мачете и побежал...

Глаза Платона Пантелеймоновича внезапно сузились. Он подался вперед, и его лицо приобрело выражение голодной гиены, увидевшей раненую антилопу.

– Простите, юная леди, – вклинился он, и его голос из бархатного баритона стал превращаться в маслянистый шепот. – Я не мог не услышать. Амок! Слово малайского происхождения. Состояние иступления, когда субъект, подавленный социальными нормами или личной неудачей, внезапно впадает в кровавую ярость. Он бежит, сметая все на своем пути, не разбирая лиц, пока его не остановят... или пока он не испустит дух.

Пара замолчала, завороченная напором. Платон Пантелеймонович облизал губы.

– Но знаете ли вы, – продолжил он, и в его глазах зажегся нездоровый огонек, – что корень амока всегда в одном? В неудовлетворенности. В той самой первобытной тяге, которую мы, люди света, маскируем под галстуки-бабочки. Вот бежит этот малайский дикарь с ножом – а ведь он, по сути, бежит к бабе! Да-да, не делайте такие глаза. Весь этот психологический взрыв – это просто застоявшийся сок мужского естества.

Его тон начал стремительно падать, как рубль в девяностые.

– Вот и я сейчас чувствую этот самый амок. Гляжу я на вашу спутницу, молодой человек, и понимаю: если я сейчас не потрогаю ее за локоток, у меня начнется такое иступление, что никакое мачете не поможет. Это же чистая физиология! Амок – это когда у тебя в штанах революция, а в голове – туман от того, что Лизка из третьей парадной вчера не дала даже за коленку подержаться.

Платон Пантелеймонович окончательно растерял свой «Амбир». Он навалился на стол, смахнув ложечку.

– Все эти ваши малайцы просто перегрелись без качественного кувыркания в сене. У них там, небось, жара, пот течет по филейным частям, юбки эти короткие... И вот он бежит, бедолага, потому что хочет всадить свое оружие не в соседа, а в какую-нибудь сочную малайку, чтоб аж искры из глаз. Вся мировая история – это один большой амок из-за нехватки регулярного порева. Я вот тоже, чувствую, сейчас побегу по Невскому, буду задирать подолы каждой встречной шалаве, потому что весна, господа, и мой личный амок уже бьет в колокола!

Он икнул и жадно уставился на коленку девушки. Пара поспешно ретировалась, оставив недопитый кофе. Платон Пантелеймонович посмотрел им вслед, вытер вспотевший лоб и снова поднял мизинец.

– Дикари-с, – пробормотал он. – Совершенно не понимают глубинных связей между этнографией и основным инстинктом.

Анабасис

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Амбир», придерживая мизинец над чашкой глянсе так, словно это был скипетр. Его лоб, изборожденный морщинами мнимых государственных забот, выражал крайнюю степень интеллектуального благородства. Вокруг чинно прогуливались дамы под зонтиками, а воздух был пропитан запахом ванили и приличия.

– Взгляните, – обратился он к случайному соседу по столику, указывая на газетный заголовок о перемещении войск, – какая монументальная драма! Перед нами не просто маневры, а истинный «Анабасис».

Сосед испуганно кивнул. Платон Пантелеймонович приосанился, переходя на лекторский тон:

– Вы ведь помните Ксенофонта? 401-й год до нашей эры. Десять тысяч греческих наемников, оставшись без предводителя посреди враждебной Персии, совершают свой великий «поход вверх». Это и есть анабасис – путь из глубины чужой, оцетинившейся штыками территории к родному морю. Тысячи верст по выжженной земле, среди варваров, без провизии, когда каждый куст дышит ненавистью, а каждая гора кажется надгробием. Это триумф воли над враждебным пространством!

В этот момент за соседним столиком официант неловко взбил сливки, и капля белой субстанции шлепнулась на туфлю Платона Пантелеймоновича. Он замер. Глаз его хищно дернулся, а благородная осанка вдруг обмякла, превращаясь в нечто скользкое.

– Вот так и в жизни, – просипел он, и голос его внезапно потерял академическую звонкость, став сальным и тяжелым. – Анабасис, понимаете ли... Идешь ты, значит, по вражеским тылам, кругом сплошная недружественность, климат лютый, а в штанах-то свербит. Греки те, небось, тоже не о Зевсе думали, когда по персидским пескам тащились.

Он наклонился к соседу, обдав того запахом дешевого коньяка и несвежих мыслей.

– Ты представь, какая там у них была «враждебная территория». Идешь ты по Кардухии, а из-за каждого угла на тебя зыркает какая-нибудь зачуханная местная баба с глазами-маслинами. И вроде как враг, и вроде как заколоть ее надо, а у тебя внутри все дыбом, потому как поход-то долгий, а бабы эти персидские – они ж как кобылицы, горячие, немытые, пахнут козым сыром и грехом.

Платон Пантелеймонович окончательно утратил облик эрудита. Он сплотнул, вытирая туфлю салфеткой с каким-то сладострастным остервенением.

– Какое там «море, море», о котором они орали! Врали все. Они бабу хотели. Чтобы такая грудастая, потная, в монидах, повалила тебя в палатке, и чтоб ты в ней, как в болоте, захлебнулся после марш-броска. Весь этот их «путь вверх» – это же чистая сублимация, батенька. Гнали их через горы, а они представляли, как ляжки раздвигают. Вот и я сейчас смотрю на эту официантку... Идет, кобыла, задом крутит, чисто твоя Персия. Завоевал бы я ее территорию, ох, прошелся бы маршем по всем ее «враждебным» низинам, чтоб она от моего анабасиса до утра икать не перестала. Тьфу, принесите еще водки, никакой культуры в этом городе не осталось!

Анальгезия

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с тем выражением лица, с каким античные философы созерцали закат цивилизации. Перед ним лежал свежий номер газеты, и взор его, затянутый дымкой экзистенциальной грусти, скользил по заголовкам.

– Мир, – шептал он, поправляя пенсне, – есть лишь совокупность болевых импульсов, которые мы, в гордыне своей, именуем бытием.

Его мысли текли плавно и благородно. Он размышлял о феномене анальгезии – этом божественном милосердии природы, лишаящем человека способности чувствовать физическое страдание. Платон Пантелеймонович представлял себе медицинские атласы, где описывались механизмы блокировки рецепторов: от простого подавления синтеза простагландинов периферическими анальгетиками до глубокого воздействия на опиоидные структуры мозга.

«Как это тонко, – думал он, – когда нейрон, готовый возопить от раны, вдруг затихает, окутанный химическим забвением. Анальгезия – это высшая форма стоицизма, достигнутая через аптечный пузырек».

В этот момент за соседним столиком случилось досадное происшествие: молодая дама в шелковом шарфе, потянувшись за сахаром, неловко задела чашку. Горячий латте выплеснулся ей на руку. Дама вскрикнула, ее лицо исказилось.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Вид женского смятения подействовал на него как смычок на расстроенную скрипку. Он приподнялся, но не для того, чтобы подать салфетку. В его глазах вспыхнул недобрый, маслянистый огонек.

– Сударыня, – начал он, и голос его из бархатного баритона стал превращаться в вязкий сип. – Вы сейчас poznali лишь поверхностное раздражение дермы. А ведь могли бы и вовсе ничего не почувствовать, кабы в организме вашем сработал механизм эндогенной анальгезии. Это, знаете ли, когда мозги сами вырабатывают опиаты, чтоб не так тошно было подыхать. Но природа – она ведь сука избирательная...

Он подошел ближе, нависая над дамой. Прежний лоск слетал с него, как старая штукатурка.

– Вы вот сейчас от боли морщитесь, губки свои кривите. А ведь боль – это что? Это сигнал. И баба, она вообще создана, чтоб эти сигналы принимать. Вот взять ту же анальгезию при родах – это ж чистый обман! Вкалывают вам в позвоночник всякую дрянь, блокируют нервные корешки, и вы лежите, как бревна, никакой отдачи, никакого, понимаешь, натурального содрогания. А я всегда говорил: настоящая девка должна быть чувствительной.

Платон Пантелеймонович облизнулся, его взгляд сполз с ошпаренной руки дамы на ее декольте.

– Вы думаете, я про медицину? Я про жизнь! Какая радость в этой вашей анальгезии, если она мешает прочувствовать всю сочность момента? Это ж как жрать через презерватив. Вот раньше бабы были – от одного взгляда в пот кидало, а сейчас все обколются своими блокаторами и ходят, как мороженые хеки. А ведь самое сладкое – это когда она от каждого тычка взвизгивает, когда кожа горит, и никакая химия не спасет от того, что я ей сейчас в ухо нашепчу. Ты, милочка, руку-то не дуй, ты представь, как бы ты извивалась, если б я тебе сейчас не про рецепторы затырал, а зажал бы в углу, где никакой анальгин не поможет заглушить то, как у тебя коленки затрясутся...

Дама, побледнев от ужаса и забыв об ожоге, схватила сумочку и пулей вылетела из кафе.

Платон Пантелеймонович грузно опустился на стул. Он тяжело дышал, потирая вспотевшую шею.

– Совсем народ науку не уважает, – проворчал он, глядя на брошенную газету. – А ведь я ей про высшее благо рассказывал. Про блокировку синапсов. Эх, ни образования у людей, ни темперамента... одни рефлексy остались.

Анафродизиак

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, подпирая щеку томиком Шопенгауэра, и с видом утомленного демиурга взирал на суету проспекта. Его мысли, облеченные в тяжелые парчовые ризы высокой философии, парили над миром.

«Как вульгарен этот век скорости! – размышлял он, поправляя пенсне. – Люди бегут, точно крысы за дудочкой прогресса, не осознавая, что бытие есть лишь воля и представление. Нам не хватает античной выдержки, того стоического спокойствия, что превращает хаос жизни в стройный гекзаметр».

В этот момент за соседним столиком грузный господин с багровой шеей шумно отодвинул тарелку и пожаловался официанту:

– Любезный, уберите это. В салат положили столько кинзы и сельдерея, что у меня началось сердцебиение. Дайте мне чего-нибудь... умиротворяющего. Слышал, есть же такие штуки – анафродизиаки? Чтобы кровь не бурлила, а мирно текла, как кисель в столовой.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Слово «анафродизиак» вошло в его сознание, как раскаленный лом в кусок масла. Его брови взметнулись к залысинам, а взгляд из философского мгновенно превратился в маслянисто-хищный.

– Позвольте, почтеннейший, – вмешался он, подавшись вперед всем корпусом. – Ваше невежество в вопросах подавления либидо просто преступно перед лицом цивилизации. Вы требуете анафродизиаков, не понимая, что вступаете на стезю великого умиротворения плоти, которая, прямо скажем, у некоторых баб... э-хе-хе... так и просит узды.

Господин с багровой шеей опешил, а Платон Пантелеймонович уже вошел в раж.

– Вы думаете, это просто травки? Нет-с! Анафродизиак – это щит против той бесстыдной вакханалии, которую устраивает природа. Возьмите хоть камфору. Древние знали: понюхал – и все, никакой тебе Нинки из хлебного с ее вырезом до пупа. Или вот хмель! Казалось бы, в пиве он есть, а на деле – эстрогены-с. Мужик пьет, живот растет, а то, что должно стоять на страже чести, вянет, как мимоза в мороз. Или зверобой – травка полезная, но как начнешь ее хлестать, так на девок тянет меньше, чем на налоговую проверку.

Платон Пантелеймонович понизил голос до интимного хрипа, его эрудиция начала стремительно терять накрахмаленный воротничок.

– А бром? Классика-с! В армии его в чай сыпали, чтоб солдатики не на медсестер заглядывались, а в устав влюблялись. Потому как ежели эту похоть не душить в зародыше солями калия или, упаси боже, соей в промышленных масштабах, то мир превратится в одну сплошную подворотню. Ведь баба, она что? Она – энтропия в кружевных панталонах. Она своим естеством так и манит, так и высасывает из тебя философский логос, заменяя его потным копошением под одеялом.

Он уже почти кричал, брызгая слюной на Шопенгауэра.

– Да кабы не анафродизиаки, мы бы все погрязли в этой вонючей куче тел! Салат ему не мил! Да радуйся, дурень, что кинза тебя не взбудрила! Я вчера видел одну... в трамвае. Грудью – прямо в компостер. Так я пришел домой, заварил себе чистотела с пустырником, чтоб глаза не лопнули от этого срамного видения. Потому что баба – это бездна, а анафродизиак – это единственная пробка, которой эту бездну можно заткнуть, чтоб не воняло грехом на весь Санкт-Петербург!

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, вытер вспотевший лоб салфеткой и вдруг, резко сменив тон, добавил:

– Кстати, у вас там в салате петрушка осталась? Не ешьте. Она – афродизиак. От нее у таких, как вы, сразу мысли дурные начинаются: про юбки, про ляжки сырые, про то, как

зажать эту официантку в подсобке среди ящиков с лимонадом... Тьфу, мерзость какая. Дайте две порции.

Анахоретство

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с таким видом, будто единолично сдерживал натиск варваров на границы цивилизации. Над его безупречно накрахмаленным воротничком возвышалось лицо редкой интеллектуальной плотности, а в руках он держал томик в кожаном переплете.

– Нынче, – обратился он к официанту, едва коснувшись чашки, – мир окончательно измельчал. Мало кто понимает величие истинного анахоретства. А ведь это, милейший, не просто затворничество, это целая философия духа! Само слово греческое: *anachoreo* – «ухожу, удаляюсь». Великие мужи, вроде Антония Египетского, бежали в пустыни от суеты, чтобы в тишине истязать свою плоть и возвышать разум.

Официант, мечтавший лишь о том, чтобы Платон Пантелеймонович перестал загораживать проход, вежливо кивнул.

– Анахорет, – продолжал Похотливый, восторженно возводя очи к потолку, – это атлант одиночества. Он сознательно рвет связи с социумом. Это высшая форма духовного эскапизма! Он сидит в своей пещере, чист и непорочен, как роса на лепестке лотоса, и никакая мирская скверна не смеет коснуться его риз...

В этот момент за соседним столиком молодая дама в слишком узком платье неосторожно взмахнула рукой, и капля клубничного сиропа с ее пирожного шлепнулась прямо на белоснежную манжету Платона Пантелеймоновича.

Похотливый замер. Глаз его дернулся. Он медленно перевел взгляд с пятна на глубокое декольте дамы, и благородная патина его эрудиции начала стремительно осыпаться, как штукатурка в старом бараке.

– Вот оно! – вдруг рявкнул он, и голос его из бархатного баритона превратился в хриплый лай. – Вот вам и анахоретство! Вы думаете, святые отцы в пустыню к Богу бежали? Черта с два! Они от таких, как вы, прятались, чтобы в башке не свербело! Потому что стоит только заикнуться о чистоте духа, как припрется какая-нибудь фифа, обтянет свои тела так, что швы трещат, и все – прощай, святость, здравствуй, грехопадение!

Он подался вперед, и его лицо приобрело неприятный багровый оттенок.

– Сидит этот твой анахорет в пещере, весь такой возвышенный, а сам только и думает: «Хоть бы какая-нибудь блудница мимо колодца прошла, да нагнулась бы пониже». И все эти их посты и молитвы – это же просто сублимация, чтоб не выть на луну от желания завалить кого-нибудь на горячий песок! У него в голове не псалмы, а сплошное колыхание филейных частей.

Платон Пантелеймонович ткнул пальцем в сторону опешившей дамы.

– Вы же, бабы, специально это делаете! Сиропом она брызнула! Знаем мы эти штучки. Это же метафора, чистой воды замануха. Тебе бы только затащить честного затворника в свои капканы, чтоб он там, среди своих песков, завыл от того, как у тебя юбка по бедрам ползет. Какое там «удаление от мира»? Весь мир – это одна большая потная кровать, а ваши эти рюшки-финтифлюшки – просто обертка для мяса, которое так и просит, чтоб его хорошенько отхмячили в ближайшем терновнике!

Он вскочил, опрокинув стул, и, не сводя безумного взгляда с выреза на платье, прошипел:

– Тьфу на вас! Все ваше общество – это просто очередь в публичный дом, прикрытая томиками философии. Пойду я в свою квартиру, запрусь на все засовы, буду истинным анахоретом... Только, чур, журнальчики срамные с собой захвачу, а то в этой вашей духовности без голых девок и пяти минут не высидишь!

Платон Пантелеймонович вылетел из кофейни, на ходу расстегивая воротничок, который теперь казался ему петлей на шее его неиссякаемого, но крайне приземленного либидо.

Ангедония

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с тем выражением скорбного достоинства, с каким античные философы взирали на закат демократии. Перед ним остывал нетронутый гясе. Мир вокруг казался ему рыхлым, недосоленным и крайне утомительным.

– Ангедония-с, – прошелестел он, обращаясь к пролетающей мимо мухе. – Полная утрата способности получать удовольствие. Трагедия духа, когда даже устрицы по вкусу напоминают ластик, а симфонии Малера – скрип несмазанной телеги.

Платон Пантелеймонович искренне считал себя последним бастионом эрудиции. Он размышлял о том, что современное общество глубоко больно: оно разучилось чувствовать «радость бытия». Для него это слово – ангедония – было не просто медицинским термином, а плащом, в который он кутался, чтобы скрыть пустоту. Он представлял, как его меланхолия ветвится, подобно канделябру в старом замке, освещая сумерки его угасающего либидо... то есть, разумеется, интеллекта.

В этот момент за соседним столиком официантка, пухлая девица с челкой, подстриженной по линейке, неловко взмахнула подносом. Пустая чашка с глухим стуком упала на ковер, а капля сливок из молочника приземлилась прямо на лакированный штиблет Платона Пантелеймоновича.

Он вздрогнул. Взгляд его, только что блуждавший в эмпиреях, хищно сфокусировался на белом пятне, а затем медленно, словно по лебедке, поднялся к коленям официантки.

– Вот оно, дитя мое, – начал он голосом, похожим на звук надтреснутой виолончели. – Наглядное воплощение моего диагноза. Вы пролили сливки, но шевельнулось ли что-то в моей душе? Полыхнул ли гнев? Нет. Только холодная, свинцовая ангедония. Мои рецепторы радости атрофированы, как хвост у этой... как ее... чешуйницы.

Официантка замерла с салфеткой. Платон Пантелеймонович подался вперед, и его тон внезапно утратил бархатистость.

– А знаете, почему я не чувствую драйва? Потому что все вокруг стало постным, как библиотечный клей. Вот вы, милочка, стоите тут, колышетесь своими телесами, а в голове у вас что? Пустота! А ведь раньше баба была – огонь, чертовщина, сок! Если уж проливала, так чтоб все вдребезги, чтоб юбка задралась, чтоб ляжки как взбитые сливки из-под подола выпрыгивали!

Он тяжело задышал, облизнув пересохшие губы. Его «высокая меланхолия» стремительно линяла, обнажая небритую щетину похоти.

– Вы думаете, я тут о высоком страдаю? Да я смотрю на твой чепец и представляю, как бы ты в нем на четвереньках по этому ковру ползала, собирая эти чертовы капли зубами. Ангедония у него, ишь ты... Да просто бабы пошли – смотреть тошно, ни порока в вас, ни изюминки, одни лосины сраные да морды постные. Раньше, бывало, в кабаках такие мадам обретались – грудь колом, взгляд похабный, а сейчас что? Ты стоишь, zenки пучишь, а у меня внутри даже не шелохнется ничего. И не потому, что я болен, а потому что ты – бревно необтесанное!

Платон Пантелеймонович уже почти кричал, брызгая слюной на остывший кофе.

– Дай мне сюда счет, кобыла! Тьфу, скука... Ни вдуть, ни поговорить. Одна сплошная, мать ее, психосоматика.

Он швырнул на стол смятую купюру и, шаркая, направился к выходу, бормоча под нос, что мир окончательно опреснел и даже приличного разврата нынче днем с огнем не сыщешь.

Аннигиляция

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с тем видом крайнего благородства, который обычно свойственен либо античным бюстам, либо людям, решившим, что весь мир – это их персональная ложа в бельэтаже. Он помешивал остывший латте серебряной ложечкой, и мысли его текли плавно, как воды Стикса, омывая берега высокой метафизики.

«Посмотрите на этот социум, – думал Платон Пантелеймонович, озирая симпатичных дам. – Броуновское движение душ, ищущих пристанища в энтропии бытия. Мы все лишь искры в холодном космосе».

В этот момент за соседним столиком юный студент в очках-велосипедах, уткнувшийся в учебник физики, воскликнул на весь зал:

– Нет, ты представь! При аннигиляции материя и антиматерия просто исчезают, высвобождая чудовищную энергию! Это же абсолютный финал!

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Слово «аннигиляция» вошло в его сознание, как раскаленный гвоздь в кусок сливочного масла. Он повернулся к юноше, и его лицо приняло выражение скорбного просветителя.

– Молодой человек, – вкрадчиво начал он, – вы говорите о физике, но понимаете ли вы метафизическую суть этого процесса? Аннигиляция – это не просто бубух в вакууме. Это когда встречаются две частицы, идентичные по массе, но противоположные по заряду. Понимаете? Плюс на минус. Позитрон и электрон. Они бросаются друг другу в объятия и – пшик! – превращаются в фотоны. Полное уничтожение покоя ради вспышки.

Студент кивнул, а Платон Пантелеймонович почувствовал, как внутри него начинает ворочаться привычный демон. Логика его мысли, доселе возвышенная, вдруг вильнула в сторону узкого переулочка.

– Вот и в жизни так же, – продолжал он, и голос его стал заметно грубее. – Возьмите, к примеру, бабу. Чистой воды антиматерия. Ты к ней со всей своей массой, с положительным, так сказать, зарядом, а она – отрицание в чистом виде. И стоит вам соприкоснуться в какой-нибудь сомнительной парадной, как происходит эта самая... аннигиляция кошелька и совести.

Он подался вперед, и блеск в его глазах стал несколько сальным.

– Вы думаете, гамма-излучение – это страшно? Страшно – это когда эта «частица» в леопардовых лосинах начинает из тебя энергию сосать. Ты ей – квант внимания, а она тебе – аннигиляцию мозга своими расспросами про «где ты был». Это же физика, милейший! Чистое плотское взаимодействие. Какая там, к черту, душа? Столкнулись, потерлись, высвободили энергию в виде нецензурного вопля и разлетелись фотонами по разным кабакам.

Платон Пантелеймонович уже не помешивал кофе, он яростно чертил ложкой по столу.

– Вся Вселенная – это одна большая грязная коммуналка, где все хотят только одного: схлестнуться с противоположным зарядом, чтобы искры полетели. А бабы – они же как черные дыры: сначала аннигилируют твою зарплату, а потом коллапсируют в сторону соседа по лестничной клетке. Физика – сука, молодой человек. Против природы не попрешь: встретил, зажал в углу, произошел квантовый скачок – и вот ты уже пустой, как барабан, и без штанов. Вот вам и весь закон сохранения массы, мать его за ногу.

Студент спешно захлопнул учебник и ретировался. Платон Пантелеймонович остался сидеть один, тяжело дыша и глядя на пятно от кофе, которое медленно расплывалось по скатерти, напоминая ему очертания чего-то крайне непристойного и глубоко научного.

– Да... – выдохнул он. – Вселенская трагедия взаимодействия субстанций. Официант! Еще чашку этого лактозного дегенеративного напитка.

Аннотация

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы так, словно внутри него совершалось таинство пресуществления духа. На коленях у него покоился увесистый том Гегеля, а взгляд, затуманенный высокой скорбью о несовершенстве бытия, блуждал по лепнине потолка. Казалось, господин Похотливый не просто пьет ячменный суррогат, а впитывает мировую эманацию разума.

– Мироздание, – шептал он, – есть лишь тонкая аннотация к ненаписанному манускрипту Творца.

Собственно, именно аннотация была предметом его нынешних медитаций. Платон Пантелеймонович ценил этот жанр за лаконичность и строгость. Он мысленно читал лекцию невидимой аудитории: «Господа, аннотация – это краткая характеристика документа, его содержания и назначения. Она должна отвечать на вопросы: о чем говорится в тексте? Какова его новизна? Для кого он предназначен? Это квинтэссенция смысла, сжатая до состояния сверхплотной звезды, где нет места лишнему прилагательному, лишь сухая кость факта...»

В этот момент за соседним столиком официантка неловко взмахнула салфеткой и уронила на пол вазочку с тремя алыми гвоздиками. Вода брызнула на лакированные штилеты Платона Пантелеймоновича.

Мир треснул. Высокий штиль качнулся и пополз вниз, как мокрые обои.

– Вот! – вскричал Похотливый, указывая пальцем на лужу. – Типичный пример нарушения структуры! Вы, милочка, сейчас выдали не аннотацию к сервису, а вульгарный синопсис хаоса. А почему? Потому что в вас, как и в любой современной девке, нет внутреннего каталогизатора. Вы же как та «Критика чистого разума» в мягкой обложке – снаружи претензия, а внутри...

Он подался вперед, и его глаза, еще минуту назад лучившиеся светом познания, подозрительно замаслились.

– Вот взять эти гвоздики. Вы их зачем сюда воткнули? Для эстетики? Вранье. Это же чистый фрейдизм в кратком изложении. Любая баба – она ведь как аннотация к научно-популярному альманаху «Веселый сеновал». Глядишь на нее: обложка приличная, шрифт с засечками, обещает «глубокое погружение в предмет исследования». А на деле? На деле все сводится к тому, чтобы затащить честного эрудита в свою нередактируемую спальню и там устроить деконструкцию смыслов.

Голос Платона Пантелеймоновича стал хриплым, а лексика окончательно утратила академический лоск.

– Ты думаешь, я не вижу, как ты бедром крутишь, подтирая воду? Это же ты мне транслируешь: «Ознакомьтесь с кратким содержанием моих панталон». Тьфу! Дикая природа. Женщина – это ведь не текст, это подстрочник с кучей опечаток. Сначала она тебе строит из себя куртуазный роман с золотым обрезом, а стоит подойти поближе – там сплошной мат, немытая посуда и требования алиментов.

Он брызнул слюной на «Феноменологию духа».

– Гляньте на нее! Стоит, глазами хлопает. А в голове-то небось уже составила резюме: как бы этого старого хрыча развести на экзистенциальный ужин с продолжением в хрущевке. Все вы такие – сначала «ах, какая аннотация, какой слог», а потом лезете своими потными ручонками в святая святых, в мужское одиночество, и требуете, чтоб вам там «главную мысль» демонстрировали по три раза за ночь без перерыва на обед. Похоть, кругом одна голая, неприкрытая похоть, замаскированная под приличный общепит!

Платон Пантелеймонович рывком встал, захлопнул книгу, прищевив воображаемый смысл бытия, и, не заплатив за кофе, вылетел на улицу, бормоча под нос что-то о «недопустимости использования сниженной лексики в приличных оглавлениях».

Аномия

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с тем выражением скорбного достоинства, с каким античные философы созерцали падение нравов. Его пенсне, казалось, держалось на переносице исключительно за счет внутреннего высокомерия. В руках он сжимал свежий номер газеты, заголовки которой кричали о распаде моральных скреп и социальной дезориентации.

«Аномия-с, – мысленно прошелестел Платон Пантелеймонович, смакуя каждый слог, как дорогой ликер. – Истинная, хрестоматийная аномия по Дюркгейму. Состояние общества, при котором старые нормы уже не действуют, а новые – сущие пустяки, не способные сдерживать хаос. Социальный вакуум, где ценности превращаются в пыль, а человечество бредет в тумане безнравственности, утратив ориентиры».

Он обвел взглядом зал. Его возмущало все: и чересчур яркие обои, и то, как официант небрежно ставит чашку. Это и было наглядное пособие по аномии – когда иерархия рушится, и каждый кухонный мужик мнит себя равным аристократу духа.

В этот момент за соседним столиком произошло роковое событие: молодая дама в слишком коротком, по мнению Платона Пантелеймоновича, пальто, потянувшись за сумочкой и случайно опрокинула солонку.

– Ах, простите, какой беспорядок! – воскликнула она, кокетливо рассмеявшись.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его лицо пошло пятнами, а эрудиция дала резкий крен в сторону бездны.

– Вот оно! – выдохнул он, и голос его из бархатного баритона превратился в хриплое шипение. – Видите? Это и есть крах регуляции! Вы рассыпали соль, сударыня, но в условиях аномии это не просто примета к ссоре. Это символ того, что ваши инстинкты больше не сдерживаются общественным договором. Когда старые правила летят к чертям, у женщины первым делом чешется... совесть! А следом за совестью – все остальное.

Дама испуганно замерла, а Похотливый уже вошел в раж, подавшись вперед и обдавая ее запахом вчерашнего коньяка.

– Вы думаете, я не вижу, к чему ведет этот ваш социальный распад? Аномия – это когда баба перестает чувствовать узду морали и начинает искать, обо что бы почесать свою природную похоть. У вас же в глазах не Дюркгейм, у вас там желание, чтоб вас в подворотне прижали! Раз нормы пали, значит, можно и юбки задираť выше ушей, и в коленках слабнуть при виде любого прохожего кобеля.

Он ударил кулаком по столу, расплескав свой кофе.

– Вся эта ваша свобода – просто ширма для того, чтоб безнаказанно блудить! Раньше-то хоть стыд был, а теперь – аномия! Хотите, чтоб за углом вас каждый встречный-поперечный за филейные части щупал, потому что «ценности девальвированы»? Да вы же спите и видите, как бы в этой куче навоза, в которую превратилось общество, найти себе жеребца погрязнее, чтоб он вас...

Платон Пантелеймонович внезапно запнулся, увидев, как официант берет его за локоть. Пенсне съехало набок, явив миру мутный, горячечный блеск глаз.

– Куда вы меня тащите? – взвизгнул он. – Это репрессия! Это попытка искусственно навязать порядок там, где царит биологический зуд! Она же хочет, я по лодыжкам вижу – она жаждет тотального падения!

Когда его выставляли за дверь, Платон Пантелеймонович продолжал выкрикивать что-то о дезорганизации коллективного сознания, перемежая научные термины описанием таких анатомических подробностей, от которых даже у автомобилистов краснели уши.

Антагонизм

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с таким видом, будто лично курировал подписание Версальского мира. Его пенсне, казалось, удерживалось на переносице исключительно силой интеллектуального превосходства. В блокноте он аккуратно выводил заголовок будущей статьи: «Метафизика антагонизма как основа мироздания».

– Антагонизм, – шептал он, смакуя каждый слог, – это не просто вражда. Это высокая диалектика противостояния. Как огонь и вода, как свет и тьма, как Гегель и здравый смысл. Это борьба противоположных сил, в которой рождается искра бытия. Без антагонизма, друзья мои, история – лишь пресный кисель.

В этот момент за соседним столиком случилось фатальное: официант, неловко взмахнув подносом, уронил сахарницу. Фарфор звякнул, и белоснежные кубики рассыпались по полу, прямо к лакированным штиблетам Платона Пантелеймоновича.

Он замер. Его взгляд, только что созерцавший горные выси, медленно сполз вниз, к сахару.

– Вот оно! – воскликнул он, и голос его из бархатного баритона вдруг превратился в дребезжащий тенор. – Наглядный антагонизм! Столкновение материи и энтропии! Сахар – он ведь белый, чистый, как девичьи помыслы в девятом классе, до того как они узнают, зачем в бане нужны мочалки. А пол? Пол – это грубая реальность, грязная, как микроволновка в студенческой общаге.

Он наклонился к официанту, который уже собирал осколки, и обдал его запахом несвежего кофе и фанатизма:

– Ты понимаешь, любезный, что этот сахар сейчас – как та вдовушка из первой парадной, Глафира? Тоже ведь строила из себя рафинад, цитировала Блока, а как прижали в темном тамбуре – так весь антагонизм и кончился. Рассыпалась, понимаешь, захрустела под ногами! Ты ее за талию, а она тебе про «единство и борьбу». А какая там борьба, когда у нее под кофточкой такие булki, что никакой Гегель не удержится?

Платон Пантелеймонович уже не шептал – он вещал на весь зал, и пенсне его подозрительно запотело.

– Мировая политика, говорите? Тьфу! Это же просто куча мужиков, которые хотят завалять одну и ту же девку – территорию. Антагонизм систем! Да какой там «изм», когда у системы юбка короткая и ляжки так и трутся друг о дружку, как поршни в кочегарке! Все это либидо, батенька. Гнилое, потное либидо. Посмотри на этот сахар – он уже серый от пыли. Вот так и любовь: сначала беленькая, а потом – хрясь! – и ты уже ковыряешься в грязных простынях, пытаешься выудить оттуда хоть каплю смысла, а находишь только использованный горчичник и запах старой селедки.

Он вдруг резко выпрямился, сплюнул на пол и добавил густым, пропитым басом:

– Сгребай давай свой антагонизм, малый. И не забудь поднос протереть, а то липкий, как руки гинеколога после осмотра пэтэушницы. Тьфу, срамота одна эта ваша философия...

Платон Пантелеймонович надел калоши и вышел, оставив после себя тяжелый дух немывтого тела и глубокой, непоколебимой эрудиции.

АПОЛОГИЯ

В кофейне «Элегия» Платон Пантелеймонович Похотливый так пафосно застыл над своим глясе, будто окормлял непросвещенную публику одним своим присутствием. Его лоб, изборожденный глубокими складками, выдавал работу мысли титаническую и, безусловно, благородную. Вокруг чирикали воробьи, звенели трамваи и автомобили, и мир казался Платону Пантелеймоновичу на редкость гармоничным чертежом, требующим лишь легкой философской ретуши.

– Взгляните, – обратился он к случайному соседу по столику, юноше с бледным взором, – как природа стремится к равновесию. Это ли не живая апология бытия?

Юноша вздрогнул. Платон Пантелеймонович блаженно зажмурился.

– Вы ведь знаете, голубчик, что такое апология в ее исконном, высоком смысле? Это не просто оправдание. Это блестящая защитительная речь, воздвигающая храм добродетели над бездной клеветы. Вспомните Сократа! Когда афиняне, эти невежественные лавочники, обвинили его в развращении юношества, он не лебезил. Его «Апология» – это гимн разуму, это щит, выставленный против серости. Он доказывал, что его внутренний голос – даймоний – ведет его к благу. Апология – это когда ты берешь нечто, на первый взгляд сомнительное, и возносишь его на пьедестал чистоты силой своего красноречия.

В этот момент за соседним столиком официантка неловко задела поднос, и на пол с сочным шлепком упал перезрелый персик, брызнув липким соком на туфлю Платона Пантелеймоновича.

Глаза мыслителя сузились. В них блеснул нехороший, желтоватый огонек.

– Вот! – воскликнул он, и голос его из бархатного баритона превратился в скрипучий фальцет. – Типичный пример! Этот персик... он ведь как натура человеческая. Снаружи пушок, филология, апология Сократа, а наступишь – и наружу лезет склизкая, потная суть. Вы посмотрите на эту мякоть! Она же прямо как бабища в маршрутке в июле месяце.

Сосед по столику попытался отодвинуться, но Платон Пантелеймонович уже вцепился в его рукав.

– Вы не понимаете логики! Если мы берем апологию как метод, то я сейчас оправдаю этот бардак. Вот эта девка, официантка... Вы видели, как она изгибается, когда подтирает сок? Это же чистый разврат, замаскированный под клининг! У нее же в голове не гигиена, а как бы поудачнее выставить свои тела на обозрение моему философскому взору. И персик этот... он же форменная провокация. Круглый, сочный, бесстыжий, как филейная часть какой-нибудь Зинки из овощного.

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, галстук его съехал набок, а на губах выступила пена.

– Апология, говорите? Да какая там греческая мудрость! Вся эта мировая гармония – просто ширма для того, чтобы эти ляжки, эти потные подмышки и рыхлые чресла терлись друг о друга под аккомпанемент высокой чепухи. Сократ-то, поди, тоже не просто так с юношами гулял, небось, тоже выискивал, где помясистее да погрязнее. Тьфу! Весь мир – это одна большая, липкая, вонючая баба, которая только и ждет, чтобы ты в нее вляпался, как я в этот фрукт. И не надо мне тут про даймоний... у этой девки вместо даймония в башке только одно – как бы задрать юбку повыше да стрясти с меня на чай за свои корявые телодвижения!

Он брезгливо вытер туфлю салфеткой, бросил ее в чашку с недопитым глясе и, рыгнув, добавил:

– Вот вам и вся философия. Сплошное скотство под соусом изящных искусств.

Апория

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Амфитрион», облаченный в пиджак цвета заката в Анапе. Он поправлял пенсне с таким достоинством, будто на его плечах покоился не старый драп, а по меньшей мере купол Исаакиевского собора. Мир вокруг казался ему несовершенным чертежом, требующим высшей интеллектуальной правки.

– Взгляните на этот сахар, – обратился он к соседу по столику, несчастному студенту с томиком логики. – Он растворяется в кофе, демонстрируя нам тщету бытия и неизбежность энтропии. Но позвольте, юноша, задумывались ли вы когда-нибудь о парадоксах движения, коими мучил современников великий Элейский старик?

Студент вздрогнул. Платон Пантелеймонович, не дожидаясь ответа, воздел палец к лепному потолку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.